

ВЫСОКАЯ ИЗБРАННОСТЬ

О СТИХАХ МАЙКИ ЛУНЁВСКОЙ И ОЛЬГИ НАДТОЧИЙ

На прошедших «Липках», Форуме молодых писателей России, который вот уже двадцать два года проводит Фонд Сергея Александровича Филатова, мы с Иваном Шипниговым вели семинар журнала «Юность». Семинар был совмещенным: прозаики, поэты и даже один литературный критик. Всего двенадцать человек.

Из поэтов на страницах журнала вы прочтете двоих – Майку Лунёвскую и Ольгу Надточий. Это поэты одного поколения, даже одного года, но такой разной судьбы – и жизненной, и творческой.

Надточий – в Петербурге. Лунёвская – в селе Березовка 1-я Тамбовской области, недалеко от знаменитого (благодаря Пастернаку) Мучкапа.

Помните?

*Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгрозовой, крошечной.*

На первый взгляд, с Петербургом поэту справиться куда труднее, чем с Мучкапом. Здесь – Пастернак, а там – одна из самых существенных частей российской культуры. Преодолеть поэтическую инерцию, вписаться в исторический контекст – все это очень значительные для поэта задачи, которые в Петербурге кажутся сложнее, чем в провинции.

Впрочем, Майке Лунёвской ничуть не легче. Ей, помимо прочего, нужно справляться с главным: выражать самое земли. Дать слово оврагам и балкам, деревьям и лесам, народу (простите за это слово) и его истории, воде и небу. Все это болит и требует осмысления.

Это противоречие «город – деревня», конечно, условно, но сам лирический герой Надточий находится вне ландшафта. Он все-таки больше горожанин, сторонний наблюдатель, что нисколько не умаляет его зна-

чение и необходимость. Наоборот, это наш современник, вот он, один из нас.

*На речке царство снежной королевы,
Заснеженное скопище зеркал.
Безмолвствует река, пойдешь налево.
Направо повернешь, молчит река.*

Мою Каменную Степь нельзя назвать деревней. Это крупный научный центр, в советское время – один из важнейших по селекции зерновых в Союзе. Но что такое островок в две с половиной тысячи человек среди степных деревень и маленьких железнодорожных станций? Все одно – провинция. Так вот, мы в детстве легко отличали приезжих: они о двух наших водохранилищах, которое мы называем «морями», старым и новым, говорили «речка».

Для Лунёвской этот вопрос тоже один из ключевых: «*Но без воды это ведь все равно // речка, река, как же еще назвать?*»

*Я прихожу к Ольшанке, сажусь на дно,
воды с него не набрать.
Но без воды, это ведь все равно
речка, река, как же еще назвать?
Так я сижу и жду, что волна пойдет,
вместо нее растет широко полынь.
А река ничего не ждет,
ее берега полны.*

Река Ольшанка – всего 14 километров. И все-таки «*ее берега полны. // Не течением, а травой, не рыбой, а муравьями...*» На самом деле – памятью. Человеческой. Природной. Дать ей слово – что может быть для поэта важнее?

Противоречие «человек – природа» в этом смысле выглядело бы естественнее, чем «город – деревня». Но и оно вполне условно.

Надточий:

*Не люди, нет, но отзвуки людей
Волнует разыгравшуюся память.
Шаги и голоса, прикосновения,
И шорохи, и скрипы половиц,
И даже скрежет спящего – волнует –
И приближение автомобиля,
И этот лай, направленный во тьму, –
питают память, и она растет.*

Лунёвская:

*когда придет осенняя вода
готовь посуду
вот ласточки сидят на проводах
печаль повсюду
...
садовый труд как сумма груш и грыж
и труд бумажный
а то что ты со мной не говоришь
уже не важно*

Важно направление взгляда, как сказал бы другой замечательный поэт, Аман Рахметов. И тут, и там – о человеке, через человека и для него. Если

Майка говорит *«переизбыток леса»*, уже через строку спрашивает сама себя: *«Дальше-то что? Дальше опять Россия...»*

Давно стало общим местом утверждение, что стихи сейчас почти не читают. Все привыкли к тому, что поэтические книги выходят крохотными тиражами, а вечера собирают от силы десятка три-четыре слушателей. Сегодняшние успехи некоторых литераторов, работающих по заказу (не социальному, а государственному), нисколько не опровергают этого.

Я думаю, что поэзия возвращается к самой себе, снова становясь делом избранных.

Напомню: «Камень» Мандельштама вышел в 1913 году тиражом триста экземпляров. На средства автора! Такой же тираж был и у «Вечера» Ахматовой. Пастернаковский «Близнец в тучах» – и вовсе двести. Да что там говорить: прижизненные тиражи Пушкина не превышали тысячи двухсот экземпляров, а журнал «Современник» выходил тиражом в шестьсот.

Мы не так далеко ушли.

Да, тогда было несоизмеримо меньше грамотных, но и сейчас людей, способных понимать настоящие стихи, никак не больше.

Но главное не в этом: поэт снова свободен!

И непопулярность поэзии – не плата за свободу. Это естественный, нормальный ход вещей. Поэзия – самое элитарное из искусств, но избранным может стать каждый.

Стихи Майки Лунёвской и Ольги Надточий – необходимые компоненты этой высокой избранности. Уверен, в самом ближайшем будущем без этих двух имен будет трудно представить современную картину молодой русскоязычной поэзии.

Василий Нацентов



МАЙНА ЛУНЁВСКАЯ
Поэтесса. Участвовала
в «Липнах» и в семинарах
Союза писателей Москвы.
Стипендиатна Фонда СЭИП
(от журналов «Знамя»
и «Юность»). Победительница
премии «Северная земля».
Состоит в ЮРСР. Стихи
публиковались в журналах
«Знамя», «Москва», «Нольцо
"А"», в «Литературной газете»,
на порталах «Литература»,
«Полутона», «Формаслов»
и др. Живет в селе Бере-
зовна 1-я Тамбовской
области.

А Я ЗАПОМНЮ...

* * *

Ночью окно открыто, и в палисаднике
слышно, как падают яблоки в барабан,
частое «ц» хай-хэта или цикады,
большая тарелка луны в глубине эстрады,
в качестве духовых выступает комбайн
(всю ночь убирают пшеницу).
В спальне окно открыто, и мне не спится,
яблоня гнется, лето уже в конце.
Никто не пришел на концерт,
но не расстроились музыканты
(делай свое цэ-цэ, как говорят цикады,
делай свое цэ-цэ, кто-нибудь да услышит).
Время стоит в моей комнате и не дышит.

* * *

Медленно,
часть от целого,
падают листья,
как будто за пикселем пиксель
осыпается мир, начиная с леса,
как будто распад победил
с внушительным перевесом.

Чем объяснить такую печаль вначале?
Разве мы смерть до этого не встречали?
Или приняли за свою?
Как ни тянусь до света – не достаю.

Как ни расти, а стеблям лежать в зиме,
в коме, в комке из снега, лицом к семье,
в корни, а то и значит, держись корней,
помни свою печаль, говори о ней.

Но если копнуть поглубже, то это, на самом деле,
никакой не ужас, а память по земледелию.

Лёса будущие дрова
в небе по рукава.
Как долго летит листва.

* * *

Прямо за кладбищем поле, Ольшанка, ивы –
видела много раз, до сих пор красиво.

Там же стоит подсолнух и кукуруза,
между ними трава ничья.
Птицы, когда им грустно,
летают, но не кричат.

Влево – асфальт, направо – грунтовка к току.
Сколько я здесь на веле каталась, столько
по сторонам смотрела, понять пыталась,
небо еще ни разу не повторялось.

Дальше еще дорога, она к оврагу.
Иногда там чабан с собакой пасет отару,
иногда прилетают лебеди или гуси.
Собака кидается к велу, но не укусит
и не продолжит дальше за мной погоню.
Кто это все запомнит? А я запомню.

* * *

когда придет осенняя вода
готовь посуду
вот ласточки сидят на проводах
печаль повсюду

вот облако над областью мучкап
не глушь а тише
что музыку садового сверчка
и в доме слышу

еще синап до позднего висит
не то что злаки
а сколько было ночью персеид
лежат в овраге

садовый труд как сумма груш и грыж
и труд бумажный
а то что ты со мной не говоришь
уже не важно

* * *

Я прихожу к Ольшанке, сажусь на дно,
воды с него не набрать.
Но без воды это ведь все равно
речка, река, как же еще назвать?
Так я сижу и жду, что волна пойдет,
вместо нее растет широко полынь.
А река ничего не ждет,
ее берега полны.
Не течением, а травой,
не рыбой, а муравьями.
Никогда не была пустой
(пустота не в реке, а в яме
или в том, кто сидит на дне).
Волна говорит волне:
«Не волнуйся.
Река во мне».

* * *

Переизбыток леса, немислима асфиксия.
Никто не окликнет и не предъявит лика.
Дальше-то что? Дальше опять Россия –
красный солдатик, синяя ежевика.
Воздух стоит – мы ноги ему связали.
В деревянных одеждах смиренны братья.
Темные круги под голубыми глазами
неба. По справедливости не поделишь.
И земля, как на вырост платье –
ждет, когда ты его наденешь.



И СЛОВО, КАК ОГОНЬ НА ЯЗЫКЕ...

* * *

ОЛЬГА НАДТОЧИЙ

Поэт, прозаик, чтец. Родилась в 1988 году в г. Нансне Красноярского края. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Автор двух поэтических книг — «Проверна связи» и «Весний повод». В 2019 году в результате успешного краудфандинга издала сборник в стихах «Волшебный Нранатун». Состоит в Санкт-Петербургском союзе профессиональных литераторов. Участница Форумов молодых писателей «Таврида» и «Липни». Выпускница писательской мастерской Анны Нинольской. Стихи публиковались в «Невском альманахе», журналах «После 12» (Немерово) и «Что есть истина» (Лондон). В 2022 году прошла в лонг-лист Международного литературного конкурса «Славяна» имени В.Г. Короленко.

Пока еще весна владеет сном,
как ремеслом ремесленник владеет,
пока еще та девушка с веслом
стоит и не моргает, не стареет,
и ночь, рассыпав бисер звезд, молчит
о том, что мы вмещаем целый космос,
пока еще мы бодрствуем в ночи,
желая превозмочь тупую косность, —
есть шанс распутать каверзный клубок
судьбы, проникнуть в суть хитросплетений,
открыться и почувствовать, что Бог —
садовник, и себя — его растением.

* * *

Небо легко сочиняет птиц
Черных, безумных, вечных.
Птицы полетом рисуют стих,
Пренебрегая речью.

Листья срываются с языка
Ветра, как мемуары.
Пишет историю дней река,
Плавно владеет даром.

Летопись — это для гор-старух,
Хокку — ромашкам в поле.
Я притаилась, я — взгляд и слух,
Капля всеобщей воли.

Вот человек, чья походка — ключ
К письменности дорожной.
Длинным письмом протянулся луч
Солнечный, осторожный.

Всех соберу, словно вольных птах,
В общий сюжет — стаю.
Пишется мир интересно так,
Что я взахлеб читаю.

* * *

На речке царство снежной королевы,
Заснеженное скопище зеркал.
Безмолвствует река, пойдешь налево.
Направо повернешь, молчит река.

Куда ни глянешь, льдины, словно блюда,
Пластами неуклюжими торчат.
На этой кухне я играть не буду,
Но задержу дыхание и взгляд,

Прекрасную картину созерцая,
Запечатлев величия момент,
Пусть он потом из памяти мерцает
Мне маяком на много-много лет.

Я верю, подо льдом река не дремлет,
Обманчива поверхность у реки,
На глубине у рыб обычай древний,
Когда зима, слагать о ней стихи,

Они тихи, смиренны, хладнокровны,
Им безразличны льдины на реке.
Им не в пример, я не умею ровно
Дышать, когда увижу вдалеке

Или вблизи какое-нибудь чудо!
Придет весна, тепло прогонит лед.
И королева снежную посуду
На новое жилище заберет.

* * *

Не люди, нет, но отзвуки людей
Волнуют разыгравшуюся память.
Шаги и голоса, прикосновения,
И шорохи, и скрипы половиц,
И даже скрежет спящего – волнуют –
И приближение автомобиля,
И этот лай, направленный во тьму, –
питают память, и она растет.

Когда-нибудь большая тишина
заговорит. Едва пропустишь это.
Пока же мир трансляцию ведет,
и отзвуки, как музыка, звучат.
Чем глубже, тем отчетливее слышишь
Себя и мир, который – вне себя.

И память выступает словно мост
Между тобой тогдашним и тобой,
которому случиться предстоит.

Сейчас же ты гуляешь по мосту
И камешки бросаешь в реку жизни,
Не понимая толком – для чего,
Поскольку у реки корявый почерк.

* * *

Когда от лета станут воскресать
Слова, которым время – воскресать,
И облака замедлят бег ли, почерк,
От синевы растают облака,

Увидишь мир, согласишься и согласишь,
И удивишься воздуху и свету,
И мальчика заметишь, належке
Идущего-бредущего по свету,

За ним летят седые мотыльки,
И днем и ночью эти мотыльки
Летят за ним с улыбками святыми,
Ни для чего они за ним летят,
Он их не звал, они за ним летят,
Он их придумал? Нет, они летят
Во сне и наяву, и здесь, и дальше.

Все просто, и светло, и выносимо,
Когда ты с мотыльками належке.
И слово, как огонь на языке,
И жизнь, и сад, и ветка – это слива.

РАДОСТЬ УДИВЛЕНИЯ

Сегодня можно часто слышать: человечество ждет новых смыслов. От кого? Конечно же, в ситуации века XXI – от политиков, ученых, деятелей культуры...

Но не будем забывать о том, что старые вечные смыслы не исчезают бесследно, а работают «на вырост» – в будущее.

Еще в XVIII веке великий немецкий поэт Гельдерлин говорил: «Поэзия есть словесное учреждение бытия». Именно в ней, в поэтическом слове, следует искать и находить самые существенные, основополагающие смыслы, необходимые, как воздух, и отдельному человеку, и человечеству в целом, смыслы художественные, нравственные, исторические...

Говоря языком современного писателя (Александра Мелихова), подлинная задача литературы – дать экзистенциальную защиту читателю от одиночества, тоски, неуверенности в себе, унижений и обид, страха смерти, скепсиса бытия...

Как ни один жанр литературы, подлинная поэзия может это сделать, и делает не только вчера, но и сегодня. В этом убеждают стихи Владимира Крюкова из Томска – глубокие, искренние, самобытные. Он из той породы «русских второстепенных поэтов», в которой Некрасов, как мы знаем из истории отечественной литературы, разглядел далеко не «второстепенного» Тютчева, предсказав в нем поэта первой величины в будущем. А нам преподав урок (хорошо ли его мы усвоили сегодня?): подлинная поэзия не делится на провинциальную и столичную, традиционную (значит – устаревшую) и новаторскую (значит – новомодную).

Русская классическая традиция с ее регулярным стихом, точными рифмой и строфикой, богатством содержательных смыслов свидетельствует и сегодня о том, что далеко не исчерпала своих возможностей: она продолжает развиваться, трансформироваться, обновляться. Выполняя свою главную трудную работу – говорить читателю на своем языке: «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь».

Такая поэзия продолжает нас удивлять: она живет, дышит, учит. И стихи Владимира Крюкова, старые и новые, автора замечательных книг «Белый свет» и «Присутствие», даруют нам эту радость удивления, открывая с новой стороны мир природы, мир чувства и мысли, память – о живых и ушедших, бесконечные закрома культуры (человеческое, слишком человеческое). Оберегая и защищая читателя от искусной фальши мнимых величин, ложных иллюзий, натиска «рекламных шагов» и завитков вокруг пустоты...

И это становится возможным потому, что происходит в подлинно художественном языке. Философ называет это «доверительной беседой мышления с поэзией», и эта беседа «происходит для того, чтобы выявить существо языка с тем, чтобы смертные вновь научились проживать в языке» (Мартин Хайдеггер).

Не этому ли «проживанию» – от стиха к стиху, от книги к книге терпеливо и мудро учит нас современный сибирский поэт – по призванию и способу существования?

Инна Ростовцева



ВЛАДИМИР КРЮНОВ

Родился в 1949 году в селе Пудино Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Работал учителем в сельских школах, в школе колонии строгого режима, сторожем, механиком телевизионного ретранслятора в райцентре, в газете Западно-Сибирского речного пароходства. Первый сборник стихов — «С открытым окном» (1989). Автор нескольких сборников стихотворений и книг прозы, книги воспоминаний «Заметки о нашем времени». Печатался в столичных и региональных журналах, в русскоязычных альманахах Германии «Пилигрим» и «Эдита», в польском альманахе *Aspekty*. Стихи вошли в антологию «Пламень. Современная русская поэзия» (2009). Член Союза российских писателей.

* * *

Настаивалась и густела зелень
небесная. И гасли облака,
и роза тихо лепесток роняла
со своего колючего ствола.

Шел кот — он возвращался из похода,
и северные серые глаза
смотрели на меня светло и мудро —
он был природной тайне приобщен.

И, глядя на него, я как-то понял
того, кто много-много лет назад
сказал: «Входите тесными вратами»,
они проводят в подлинную жизнь.

Да, это было просто совпадение.
И уподобить моего кота
апостолу я вовсе не хотел бы,
не та повадка, право же, не та.

АВГУСТ. НОЧЬ

Это кров,
под которым — мы.
Это теплая кровь
тьмы.

* * *

Врасплох застигнуты, стога
хорошего не ждут,
на них с утра идут снега,
безудержно идут.

Белы дороги и дома,
И свет сегодня бел.
Так силу пробует зима,
Уверена в себе.

Я прочитал ее следы,
я знал еще вчера
мурашки зябнущей воды
и обреченность трав.

И снег летит с больших небес
на прошлый образ дня,
на строгий и спокойный лес,
забывший про меня.

Как будто снегу на сто лет
в запасе там у них.
В моей тетради на столе
чернеет белый стих.

* * *

*И когда Он снял седьмую печать,
сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса...*

Откровение Святого Иоанна Богослова

Мне снилось: на голом поле –
ни адом назвать, ни раем,
стоим как статисты, что ли:
не спорим, не выбираем.

Тут всё и без нас решили.
И вот навсегда, навеки,
прощаясь, уходят реки,
бесследно уходят реки
малые и большие.

* * *

Небесная свежесть
Зовется озоном.
Я вижу: и счастье
бывает сезонным,
внезапным и кратким,
как всякое счастье,
рожденное небом,
разбитым на части.
И взгляду просторно,
и не оттого ли
так радуется сердце
дыхание воли.
И ветром упругим
к земле припадая,
трепещет душа
навсегда молодая.

* * *

И сердце застилает смутной тенью
не просто беспредметная тоска,
а тщетные попытки обретенья
какого-то другого языка.

Вот так однажды двинешь со двора,
оставив переплеск веселых пятен,
и вдруг поймешь, что твой язык добра
не всеми принят и не всем понятен.

Так оторопь переживает вода,
негаданно наутро обнаружив
накрывшую ее коросту льда
и отменившую весь мир снаружи.

Но терпеливо в ледяной неволе
безмолвная покоится река
до лета, до тепла, до лучшей доли,
как я – до обретенья языка.

БЕРЕГИ КОСУ, ВАРВАРУШКА



ВАРВАРА ЗАБОРЦЕВА
Родилась в 1999 году в п. Пинега Архангельской области. Студентка Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Публиковалась в журналах «Звезда»,

«Юность», «Урал», «Сибирские огни», «Наш современник», «Формаслов». Участник XX, XXI и XXII Форумов молодых писателей России, участник форума молодых писателей России, Казахстана

и Ниргизии (2021). Участник литературной школы журнала «Юность». Шорт-лист международного конкурса фантастического рассказа «Прыжок над бездной» (2022). Живет в Санкт-Петербурге.

Под нашим угором течет река.

Длинная такая, почти как моя коса.

Только теперь у меня нет косы, а река на месте, все бежит и бежит, не устанет. Я, глупа голова, все оглядываюсь да ищу косу по привычке. Раньше спущусь с угора и дожидаюсь, когда же моя копуша скатится.

Ой, как же косу наш Домовенок любил. Я совсем маленькая была, и коса мала – с меня ростом.

Помню, проснусь, а на подушке бантик меня дожидается. То беленький, то розовенький, даже в мелкий горошек. Каждый праздник я с новым бантиком. Вот какой у нас добрый Домовенок. Мне всегда хотелось тоже его порадовать и хоть разочек увидеть бы. Интересно же, как улыбаются Домовенки.

Дедушка сказал, они больно стеснительные, но я всегда могу зажмурить глаза и представить, как улыбается Домовенок. Главное, говорит, чтобы волосы прибраны были, а то спутает меня с вредными Чердачихами, которые на пыльных чердаках живут, – у них вечно волосы растрепанные.

А в один день дедушка уплыл вниз по нашей реке. И Домовенок куда-то пропал. И бантиков больше не было.

Я этот день хорошо помню.

Мы с дедушкой на реке блинчики пускали. Он у меня мастер – до соседнего берега блинчики

выстроятся, будто зверек какой реку перешел. Смотрю, дедушка лодку тащит, а я рада-раде-хонька, уж больно люблю на лодочке с дедушкой кататься. Берет меня на руки, думаю, на лодку посадит, а он как закинет меня на угор – прямо к нашему дому. Стою высоко на угоре. Ветер свищет, коса во все стороны лягается. Внизу стоит маленький дедушка. В лодку садится и говорит:

– Береги косу, Варварушка. Она ото всех бед тебя сбережет. А если коса не справится, дедушка всегда рядом. Беги в дом.

Мы с косой ох как выросли за это время. Бывает, заскучаю по рыбалке с дедушкой, как брошу косу в реку прямо с угора и жду-дожидаюсь. А чем моя коса – не удочка. Все как дедушка делает: брошу и, деловая такая, сажу-дожидаюсь рыбу. Только она что-то не клюет, видно, не глупая. Чует, что не дедушкина удочка.

И вот сажу я, рыбачу потихоньку. Дедушку вспоминаю, Домовенка.

Вдруг я все-все поняла. Глупа голова, чего же раньше не догадалась.

Дедушка за Семгой уплыл. Той самой – большашей-пребольшашшей Семгой. О ней все на Севере знают. Говорят, живет она там, где наша река с Белым морем встречаются. Конечно, дедушка туда поплыл. Разве меня бабушка отпустит до самого Белого моря, вот он один и отправился.

И с пропажей Домовенка все сразу ясно. Они давнишние друзья, а если друга давно нет дома, разве усидишь на месте.

Вот и я второй день места себе не нахожу. Все думаю, как мне дедушку с Домовенком выручить. Думала, думала – ничего не придумала. Поняла только, что бабушке строго-настрого говорить нельзя. Если замешкаемся на обратном пути – все-таки против течения грести нелегко, – она всяко поймет, что к чему. Догадается, куда и зачем мы отправились.

Только где лодку взять.

Думала, думала и придумала – сама смастерила. У сарая дровяного много досок ненужных. Еще крепкие, хороший плот выйдет. Только перевязать нечем, но и тут я быстро догадалась. Отрезала от косы малюсенький кусочек. Ничего, дедушка даже не заметит, зато обрадуется, когда плот мой увидит. Он и правда ничего такой вышел, палку понадежней взяла – и в путь.

По течению чего не плыть – сиди да чуток направляй.

Наша река и правда длинюща. А по берегам домики деревянные – лепота какая. Плыву да люблюсь, глупа голова, нет бы дедушку высматривать.

Вдруг вижу впереди – черняшша-пречерняшша туча.

Ливень зарядит, вся вымокну, заболею, а дедушку с Домовенком спасти кто будет. Нет, мокнуть никак нельзя. Думала, думала и придумала – косу расплету. Волосы у меня густяшши – дедушкины. Целый дом получился, никакой дождь в него не попал.

Потом я весь день волосы сушила, а еще день косу заплетала. Три дня плыву – дедушку так и не нашла.

Вдалеке вижу – что-то синее-синее, огромное – моими глазенками никак не охватить. Но если бы я была большашшей-пребольшашшей Семгой, поселилась бы именно там.

Откуда ни возьмись – ветер поднялся. Да так разошелся, спасу нет.

Кидает река мой плот туда-сюда. Моргнуть не успела – палку утащила.

Вот тогда я крепко испугалась. Никогда не видела нашу реку в таком плохом настроении. Я тоже, бывает, дравничаю, но не до такой же степени.

Еще плакать придумала – снова дождь зарядил.

Изо всех сил пытаюсь казаться невозмутимой. Тут главное – виду не показывать, а быстрее отвлечь. А то повадится дравничать да плакать – куда мы потом с такой капризной рекой.

Смотрю – нет, вроде не мерещится – что-то плывет ко мне.

Анделы, это дедушка на Семге сидит. А с ним еще один дедушка, поменьше только. Тянут ко мне руки, тянут – никак не дотянутся. Ветер как дунет – мой плот, бедолага, еле-еле держится.

Думала, думала и придумала – отрезала косу. Из одной доски торчал большашший гвоздь, остряшший конец у него – им и отрезала.

Закинула косу к дедушке – и все.

Уснула, видно, от страха. Может, не дедушка был это, и не Семга, а лесорубы на катере возвращались да меня на катер подхватили.

Может, и так.

Но косы моей не было. Ничего, отрастет, это беда разве.

Проснулась я дома. Смотрю – под подушкой бантик синенький.

А ночью дедушка снился. Плывет по Белому морю на большашшей-пребольшашшей Семге, а рядом Домовенок. Тут-то я его и разглядела.

Плывут себе, плывут. И оба улыбаются.



РАДОНИЦА НА ОСТРОВЕ КЕГО

Название чудное, но, говорят, исконно северное.
Кего...

Слышалось в крике чаек.

Кего...

Перешептывались на причале.

И вот я уже в толпе. Жду буксир, который идет на Кего.

На Двине всю ледоход.

Смотри-ка, льдины тоже с характером. Упрямые барахтаются, трутся друг о друга, изредка потрескивают. Растерянные упираются в берег, сдавшихся медленно растворяет вода, утягивая на дно. Уцелевшие рано или поздно поддаются течению настырной реки. Но это все так, редкие осколки. Большая часть сразу заняла самое горизонтальное положение и устремилась, куда велела большая вода. Величественное шествие в никуда из ниоткуда.

Май на дворе, а зарядил мелкий град.

Мало льда по сторонам, еще и сверху лупит.

Кего...

Гудок зовет на остров – пора.

За спиной остается Архангельск. До неприличия голый – ни одного зеленого листочка. Только стеклянные новостройки заслоняют его наготу.

Буксир упрямо разрезает лед и уверенно идет на Кего.

Остров проступает сквозь тучи почти земляного цвета. Град и не думает отступать.

Еще издали вижу девочку на пирсе.

Она громко зовет кого-то, радостно оповещая:
– Буксир из города!

Красный капюшон как маяк. Вытаскивает нас на сушу.

Остров подозрительно плоский – как его не затопило в разгар ледохода. Хотя... сколько таких островов в дельте Северной Двины. За каждым не уследишь, каждого не затопишь.

Пока я тут рассуждаю, одна нога уже по колено в воде. Гнилая доска пирса подвела. Ладно, терять нечего. И так сухой нитки нет.

Иду и хлюпаю посреди гробовой тишины.

Куда делись пассажиры, где местные жители.

Передо мной три дороги, если можно так назвать полосы густого грязевого месива. Мысли о сырой хлюпающей ноге улетучивались, предстояло испытание похлеще.

Не каждый день в году встретишь такую грязь. Снег окончательно отступает, и грязь буквально пышет жизнью, бурлит и захватывает улицы. Впитывает все, что таилось под снегом. Даже бедное небо угодило в извилистые ямы, в которых сошлись и вода, и земля, и сама синь, казалось, неуловимого воздуха.

Дорога по центру сманивает меня домиками. Грязь тут же перестает пугать – пугают и за-

вораживают дома. Казалось бы, ничего не может быть темнее этой свежей, очнувшейся земли. Град рябит и рябит в глазах. Из-за него промокшие до черноты дома видятся призрачными, неразрывными с землей – полноправной хозяйкой этих майских дней.

Некоторые крыши поросли зеленым мхом – хотя бы он смутно похож на весну. Изредка вспыхивают веселенькие занавески в цветочек, даже мерещатся силуэты за ними. Заборы – эти еле живые скрещенные вертикали и горизонталы – затягивают вглубь острова Кего.

Снова девочка в красном капюшоне.

Она заприметила желтые цветы и женщину. Желтые цветы и правда приметны – будто вопреки граду и нулевой отметке выскочили наводить весну.

Женщина оказалась ее мамой. Об этом девочка оповещает весь остров Кего.

Красная и коричневая куртки шагают по небу, вязнущему под сапогами. Лиц не разглядеть – слишком сильно затянуты капюшоны. Зато издали видны руки в черных перчатках, которые слились крепче самых прочных корней.

Мама, дочка и желтые цветы идут уверенно прямо. Я за ними. Они непременно должны знать, где же на острове Кего прячется весна.

И правда – из ниоткуда высыпают цветы. Красные, желтые, даже синие.

Их несут коричневые, а иногда даже светло-бежевые люди, которые собираются в один стройный поток.

Впереди – свет.

Сияет тоненькая деревянная мостовая. Вот она – дорога к весне.

Мерещится ли – целое поле цветов впереди. И как же людно – вот где прячутся жители острова Кего.

Слышен колокольный звон.

Ке-го-ке-го-ке-го-ке-го-о...

И тут град рассеялся.

Я стою на кладбище посреди лиц. Они смотрят на меня с памятников и фотографий, из-под капюшонов и зонтиков. Будто спрашивают: что ты здесь делаешь? У меня тоже не было ответа.

Радоница сегодня на острове Кего.

Девочка снимает красный капюшон. Какие же солнечные у нее волосы. Как желтые цветы, которые она заботливо втыкает в землю рядом с фото пожилой женщины.

Проводи меня, девочка. Укажи дорогу назад.

А хочешь, пойдем со мной, пока твоя красная курточка не стала коричневой от дождей и грязи. Я куплю тебе белые туфли. За рекой есть места, где даже можно ходить босиком. А кораблей, сколько разных кораблей, вовсе не один пытящий буксир, который ты бегаешь встречать, наврное, каждый день.

Проводи меня, девочка. Укажи дорогу назад.

Я расскажу о вашем острове.

И кто-то обязательно услышит в крике чаек знакомое –

Кего...

Значит, Кего все-таки существует.

И может быть, даже радуется.



СВЕТЛЯЧКИ ВЕРНУТСЯ НА СЕВЕР

В белые ночи сна не видеть.

Хоть глаза зашейте, не спится – и все.

Ангелы, как светло – беги да второй раз день проживай. Бабушка говорит, коли хороший день выдался – еще раз ему порадуйся, а ежели худой – поправить можно, чур быть, и не зря прожит будет.

Лежу да ворочаюсь, с боку на бок катаюсь. Казалось, каждое перышко в подушке пересчитала да перещупала, а сон так и не нашла.

Смотрю в потолок, а на побелке будто день вчерашний проглядывает. В самом центре трещинка – длинная такая – это наша речка. Три раза до нее сбродили, вода еще не прогрелась, но мы с сестрой закаленные, все лето в воде просидели бы. А нет, еще мы ягоды разные любим. Все бочки на огороде вычерпали на клубнику да смородину, ведер сто чехнули не жалеючи, чтобы ягодки скорее поспели. Так уработались, что на потолке грядки мерещатся – большаши, много ягод будет. Пирогов напечем, лепота. Вон, в углу у паутины – будто целый противень пирогов из печи вылезает. Может, съесть что-нибудь, быстрее усну...

Пробираюсь на кухню.

И тут слышу запах – будто сама белая ночь вместе с комарами в открытую форточку прошмыгнула. Как тут не выйти ей навстречу.

Дома, сарай, бани, даже мой любимый магазин, куда завтра привезут мороженое, – все растворилось. Осталась только черемуха. Улица белой че-

ремухи – как ей идет это мягкое небо. Ветки все ближе и ближе. Подхватывают меня, несут к самому небу, на котором нет солнца, но оно, ночное июньское небо, все равно теплое.

Как я люблю кататься на ветках. Все обожают велики, самокаты, а мы с сестрой только и ждем, когда нас подхватят ветки. Одна ветка передаст другой, затем нас подхватит следующее дерево, за ним соседнее. И так понесут – далеко, близко ли, – к лесу, на реку или даже в небо. К облакам часто нельзя, больно они стеснительные, но однажды я все ж разглядела у одного голубые глаза и нос картошкой.

Спускаюсь и вижу внизу еще одно небо. Это наша река. На берегу ни души. Только черемуховая, речкина и моя. Снимаю шлепки и хожу по воде. Наша речка такая тихая, такая гладкая, что я на цыпочках, еле слышно хожу – может, хотя бы наша речка сегодня спит.

Интересно, какие сны снятся нашей речке. Может, она вспоминает детство – у нашей речки все не так, как у нас. Это мы с сестрой делаем черточки на стене под выключателем, чтобы каждое лето смотреть, на сколько мы подросли. Как дорастем до выключателя, значит, совсем большие стали – мне буквально мизинчик остался, а сестре где-то кулачок. А наша речка не растет, наоборот, год от года становится только меньше. Бабушка говорит, раньше по ней

корабли ходили. Большашши, с музыкой, танцами и целыми ящиками мороженого. А сейчас – ящиков десять поперек влезет и все, только если паровозиком...

А может, нашей речке снится море, к которому она все бежит, да никак не прибежит. Море Белым называется. Я никогда его не видела, но думаю, оно похоже на большашший-пребольшашший тазик с водой, сплошь усыпанный лепестками черемухи. Не зря же его Белым назвали.

У меня сна ни в одном глазу, от холодной воды даже зевать перестала.

Сию на траве да травинки разглядываю – рассвет дожидаюсь. А травинки оказались совсем не одинаковые – совсем разного зеленого цвета. Это как глаза у моей семьи. Бабушка, мама, я и сестра – у всех глаза зеленые, но совсем не одинаковые. У мамы скорее яблочные, а у бабушки похожи на свежую капусту. Глаза сестры точь-в-точь как леденцы, то ли мятные, то ли арбузные. А свои... свои особо и не рассматривала, говорят, просто – зеленые глаза.

И тут между травинками вижу – что-то светится. Думаю, вдруг рассвет в траве запутался, выручать надо. Пригляделась несколько раз... точно ли... Да, точно – светлячок в траве спит.

Бабушка говорит, если увидишь спящего светлячка в белые ночи, нужно обязательно его разбудить, а то он все лето проспит, а может и совсем не проснуться. Вот почему светлячков на Севере почти нет. Увидеть светлячка – большая редкость, а значит – ответственность. Я не могу подвести бабушку, да и Северу без светлячков совсем худо. Как там... присказка есть:

*Светлячок-светлячок,
Поделись со мной сном,
Полетай над рекой,
Покружи над травой.*

Поглаживаю светлячка да приговариваю. Шепотом приговариваю, речку-то не хочу будить. Спела ему разочек-другой, он и просыпается потихоньку. Глазки вылупил, а я давай их рассматривать. То ли трава отражается в них, то ли он тоже – зеленоглазый немножко.

Долго не думал светлячок, проснулся да полетел над рекой. В волосах моих чуток запутался, но ничего, быстро дорогу нашел, шустрый такой.

*Светлячок-светлячок,
Ночкой не спи,
Летай над рекой,
Кружи над травой.*

Бабушка говорит, если разбудить светлячка, он обязательно тебя выручит в самый нужный момент. Ты уже забудешь, а он все равно прилетит.

Надеюсь, бабушка сейчас спит и не знает, что я посреди ночи бужу светлячка. Конечно, она обрадуется, что я нашла своего светлячка и даже смогла разбудить его, но вначале сто раз повторит, что сильно волновалась, как это делают все приличные бабушки.

...

И вот я уже сама бабушка – стукнуло семьдесят, шутка в деле. Светлячка моего я больше не видела, и этому очень радуюсь. Всю жизнь помнила, что у меня есть мой светящийся оберег. И если он пока не прилетел, значит, еще увижу белые ночи.



ДОТТОРЕ ПЕСТЕ



ТАТЬЯНА ЗОЛОЧЕВСКАЯ
Родилась в г. Выборге. Окончила Педагогический университет имени А.И. Герцена, Институт кино и ТВ в Санкт-Петербурге. Выпускница магистерской программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ, училась по обмену

в университете На'Фосчари в Венеции. Работала редактором, продюсером, ведущей радио и ТВ-программ. Первые рассказы написала на курсах BAND, Creative Writing School. Публиковалась в сборниках современной прозы «Энсмо»

и «Ридеро». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса (2018), премии «Московский наблюдатель» (2020), конкурса «Открытая Евразия» (2020). Обозреватель интернет-портала «Raga Avis. Открытая критика».

*Крикнул. Его не слышали,
Он, оборвавшись, упал
В зыбкие, бледные дали
Венецианских зеркал.*

Н. Гумилев. Венеция. 1913

1.

Дождь начался внезапно. Редкие, крупные капли упали на серый уличный камень, и поначалу никто из туристов не обратил на это внимания. Люди все так же глазели на светящиеся витрины, останавливались на горбатых мостиках у каналов сделать фото. Через считанные минуты возгласы, смех, отдаваясь эхом под сводами тесных венецианских улочек, стихли. Послышались глухие хлопки раскрываемых зонтов, возникла суета: кто-то на кого-то налетел, кто-то вбегал в двери магазинов. Робкая разведка дождя сменилась мелкими частыми зарядами. Воздух отяжелел, наполнился влагой, на открытых перекрестках повеяло сквознячком.

Двигаясь от *San Marco* к *Rialto*, она плыла вместе со всеми, привычно улавливая обрывки чужестранной речи: певучего итальянского, каркающего немецкого, сонного английского – то мокнувшая под раззадоренным косым обстрелом, то защищенная краем чужого зонта. Свой она не

взяла. Все три недели, с момента приезда в Венецию, было солнечно. Итальянский февраль оказался неотличим от русского апреля. Каждое утро в ее узкой десятиметровой комнате на *San Polo* сквозь прикрытые ставни бил в глаза золотой луч. Не имея достаточно места, зажатый деревом, он сочился, полз, ширился, пока она наконец не вскакивала, чтобы распахнуть ставни и выпустить его на свободу.

Вот и *Campo Bartolomeo*. Под навесами облепивших со всех сторон площадь кафешек и баров как ни в чем не бывало сидели люди – за бокалом вина, пиццей. Неожиданно толпа, несущая ее в протоке, расступилась и поредела. Мокрая площадь зарыбила под ногами оцинкованной стиральной доской. Она водрузила на голову рюкзак, спасаясь от неумолкающего дождя. Пробегая мимо Гольдони, прыснула: с бронзовой треуголки вода стекала ему на руку, держащую трость. Манжет клевал голубь – и казалось, у трости живой набалдашник, а сам драматург вот-вот ринется по лужам.

Rialto кишел, как муравейник. Рывками она двинулась по невысоким ступенькам вверх, быстро достигла середины моста. Небо и канал сомкнулись, занавесив Венецию серой мятушейся шторой, расшитой по краям шафранной нитью. Дождь усилился, немилосердно стуча по плечам, зонтам, парашетам, словно высказывая на-

болевшее. Кроссовки чавкали, набравшись воды. С *San Marco* донесся колокольный звон, тревожно и сладко разливаясь в теле.

Шесть вечера. Надо поторопиться. В общежитии, как здесь говорят – студенческом доме, – ужин: она не предупредила, что задержится. Впереди примерно половина пути, если поспешить – можно уложиться и в четверть часа. Вот бы сейчас чая, и сесть у окна – слушать дождь. А лучше на террасе, с кофе! Может, даже сегодня. Одолев мост, она заспешила дальше, на ходу доставая мобильный, чтобы заглядывать в карту города, работающую офлайн.

Миновав пару улиц с витринами, где под козырьками прятались толпы людей, она углубилась в переулки. Натертые до блеска серые камни были светлее неба. Она прибавила шаг, тарашась в полумраке по сторонам. Не пропустить бы желтый указатель *Alla Ferrovia*, ведущий к вокзалу, возле которого она живет. Вперед, вперед, вот и *Coop*, продуктовый, значит, теперь налево. Господи, почему так мрачно, и люди исчезли.

Внезапно она перестала понимать, куда идет. Несколько раз выручавшая ее карта не грузилась. Она встала на приступку дома, вжавшись спиной в стену, брр. Вокруг никого. Барабанные дробы дождя, ледяные пальцы. Венеция поймала ее в каменный мешок, как трофей. Она беспомощно озиралась и не могла припомнить ни одного дома вокруг. Дождь лупил по щекам. Она снова бросилась в узкий проем. Пролетев буквально сто метров, замерла: тупик. Кинулась назад, свернула в другую сторону, следуя интуиции.

Но интуиция подвела. Через пару проемов – страшных, черных, с заколоченными окнами и нежилыми дворами, – она снова остановилась. Венеция, словно прячась от дождя, вывернулась наизнанку и пугала ее. Она схватилась за телефон, набрала подругу – тишина, сигнал не проходит, как это уже бывало здесь, в средневековых лабиринтах. Надо вернуться, начать заново. Снова назад, теперь против дождя и ветра, немилосердно плюющего в лицо. Заглись фонари, в завесе дождя дающие рассеянный свет. Розовато-блеклые, они повисли мутными опалами отдаленно от невидимых в темноте опор. Окна и стены домов влажно засеребрились.

Она вернулась почти к *Rialto*, в знакомый квадрат проходного двора с колодцем посередине, похожим на керамический цветочный горшок. Показался прохожий, бегущий под полиэтиленовым пакетом.

– Эй. – Пока она соображала, что спросить, он промелькнул, словно призрак.

Стало страшно. Чтобы не стоять и что-то делать, она глянула на мобильный и вздрогнула от резкого: *«Поверните направо»*. Господи, слава богу. Пошла, вслушиваясь в команды женского электронного голоса. Колокол на *San Marco* отмерил полчаса. Ужин, она опоздала. Раскаты грома. Ливень. Спринт по воде. Голос повел другой дорогой: наконец она опознала белый бок *San Toma* со статуями святых на фронтоне. А рядом еще один студенческий дом: терракотовый фасад, решетчатые ставни. Ей надо – между, и потом левее.

Обрадованная, она припустила, угадывая сквозь пелену воды округлый мостик через канал. Смеясь и держась за руки, мимо нее проскочила пара подростков, накрытых одной курткой. Оказавшись на другом берегу, она подумала: *«Этот город не для детей, венецианцы рождаются взрослыми. Как можно шутить с таким обилием воды. И это еще не acqua alta»*. На расстоянии руки темнел канал, тут же стена здания: людям не разойтись, не помешав друг другу.

Вдруг она за что-то запнулась, стукнувшись лодыжкой, и медленно заскользила по илстым ступеням. Темный провал приблизился, вода приветливо замерцала, сердце захолонуло. Вот и все... И тут чья-то сильная рука подхватила ее, дернула, поставила на ноги и оттащила от края воды. Ее била дрожь. Кто это? Джинсы, слипшийся атласный плащ, длинный залакированный клюв. Зловещая маска Доктора Чумы, белеющая в темноте. Глаза скрыты мокрыми окулярами, на голове шляпа – капает с полей. Она отшатнулась.

– Решили искупаться? – съязвил незнакомец на чистом русском.

Она промолчала и пошла вперед, стараясь оторваться от незнакомца. Он нагнал, взял под локоть. – Ну уж нет. Не бойтесь, Дотторе Песте проводит вас. – Подлаживаясь под ее шаг, засеменял рядом.

Она старалась смотреть вперед, но боковым зрением видела клюв, похожий на костяной рог для вина. Дотторе Песте? «Чумной Доктор» по-итальянски? Сумасшедший. Нашел время карнавалить. Они дошли до кондитерской *Tonolo*. Название улицы она забыла, но знала, что минут через десять они окажутся у дверей ее жилья. Они добрались быстрее. Полукруглые высокие окна, затянутые тюлем, светились, сквозь них были видны легкие тени девочек. Дождь, устав бесноваться, почти

Вязкий, тягучий,
таинственный туман
захватил город, вполз
на улицы и в переулки.
Закутывал, заворачивал,
скрывал все, чему еще
вчера радовался взгляд.
От этого зрелища было
не оторваться, Венеция
болезненно хотела
внимания.

затих, подсыпая сухую мелочь. Колокол базилики *Frari* возвестил, что уже семь.

Она вырвала руку – ей пора.

- Да что вы такая резкая? Как вас зовут?
- Снимите маску, – шепотом.
- Александр. – Проигнорировав просьбу, он вытащил бумажный платок и подал ей. Поправил плащ, из-под которого выглядывала красная куртка.
- Она устало обтерла лицо, пробормотав:
- Ната.

2.

После дождя стоял туман. Утро в Венеции, подернутое густой вуалью, тонуло в каналах. Исчезли линия горизонта, очертания домов, колонн, мостиков и людей. Вода и воздух слились, смешались, стали целым, голуби нахохлились и перестали летать. Репетируя карнавал, Венеция нарядилась слепцом и победила до срока гонку на лучший костюм.

Туманная толща воды не давила, а растворяла взгляд, побуждая к тишине и одиночеству. Вязкий, тягучий, таинственный туман захватил город, вполз на улицы и в переулки. Закутывал, заворачивал, скрывал все, чему еще вчера радовался взгляд. От этого зрелища было не оторваться, Венеция болезненно хотела внимания.

Ната сидела на итальянском в аудитории на *Giobbe* и не могла сосредоточиться. Грустно тя-

нуло душу, хотелось бесцельно бродить, сидеть у воды, попивая *Spritz*. Где-то внутри наклеивались, зрели стихи. Путь сюда, в противоположную от центра сторону, который успел ей полюбиться за широту вида на лагуну, сегодня ощущался не законченным. Оказывается, преступление – сидеть на лекциях не в жару, а в такой странный день, влекущий в бледные дали.

Ее звал туман.

Профессор Росси, крупная, статная женщина, требовала от всех, и от студентов по обмену особенно, стопроцентной посещаемости лекций. Сегодня она призналась, что отступила от плана, и начала объяснять «туманную» терминологию. Оказалось, «туман» по-итальянски – *nebbia* или *foschia*, но венецианцы используют слово *caligo*. А устойчивое выражение *filare caligo* означает «кружить в тумане, испытывать неотвязную тоску», от которой трудно избавиться, стряхнуть с себя, как невозможно выключить, отменить венецианский туман.

Росси набрала новые слова у себя в планшете и спроецировала на огромный, как в кинотеатре, экран. Говорила она, словно актриса, со сцены – в микрофон. Конечно, учиться в корпусах университета на *Giobbe* было приятно. Современные здания невысокой этажности, соединенные стеклянными переходами, были выполнены в стиле *лофт*. То тут, то там среди однотонной штукатурки обнажалась старинная кирпичная кладка, а многие аудитории, включая эту, убежали вверх ступеньками амфитеатров.

Обычно внимательная и вовлеченная, сегодня Ната сидела на галерке и гуляла в своем тумане. Ее занимали мысли о Глебе, оставшемся в Москве. Скучает ли он, есть ли у них будущее? Глеб, Глебушка... Похоже, она стала одной из его обожательниц. Китаист, умница, лучший на курсе в МГУ, он купался в женском внимании. Глеб не был красавцем, узкие плечи, легкая компьютерная сутулость, но умные цепкие глаза, выдающие интеллектуала, обходительные манеры молодого человека из профессорской семьи делали свое дело.

Для Наты, с самого момента знакомства, он был единственным, и делить его ни с кем не хотелось. Чем она была интересна ему, оставалось неясным, возможно, среди красавиц и умниц она выделялась неискусственностью и простотой. Глеб часто цитировал Сенеку: «Язык правды прост». Бросок сюда, в Италию, убивал двух зайцев: она делала вклад в собственное развитие и пыталась дотянуться до стандарта его семьи. Глеб не приехал

в Домодедово ее проводить: температурил. Писал сообщения редко и односложно, в основном отвечая на ее вопросы, и она не знала, не потеряет ли его, уехав так далеко и надолго.

Ната потихоньку встала и, пробираясь боком по стеночке, покинула аудиторию. Вышла за ворота здания и попала в старую фотографию – идеально выверенный монохром с едва прорисованным контуром железнодорожного моста, соединяющего узкой перепонкой островную и материковую Венецию. Ощущение нереальности и ускользающей красоты. Белые ночи по-итальянски.

Туман вел ее по *Cannaregio*, и, боясь оступиться, она сначала шла вдоль канала, прижимаясь к домам, а потом вышла на широкую *Strada Nova* и побрела к *Ospedale*. На полпути, не доходя *Spar*, она присела на улице в знакомой кафешке и взяла кофе. Официант из ниоткуда подал наперсточную чашку, и не видная, словно чужая рука интуитивно поднесла ее ко рту. За дальним столиком сидел пожилой венецианец: как в сюрреалистическом кино, он показывал часть лица, прорезанную морщинами, блестел дужкой очков.

Сознательно плутая по каменному лабиринту, Ната тянула перед собой руку, чтобы быть уверенной, что никуда не врежется. В этой части города туристов было в разы меньше. Разлитое в молочном воздухе спокойствие остужало ее беспокойство. Она все думала: «Глеб, Глебушка, чем ты занят сейчас, здоров ли». Вспоминалась их первая встреча возле кофейного автомата у них в Вышке, на Мясницкой, в перерыве студенческой конференции: красные прожилки его уставших внимательных глаз, с утра и до вечера изучавших увесистые фолианты, длинные, нескладные руки. Ната уловила, что он голоден, и протянула ему бутерброд. С этого все и пошло.

Раздался пронзительный звук сирены – желтого медицинского катера с надписью *Ambulanza*, – значит, *fondamenta Nuove* уже где-то рядом. Сейчас она дойдет до конца улицы, и справа покажется фешенебельный, на ее вкус, *Combo*, скромно названный хостелом. Ну, где вы видели хостел, открытый в аутентичном, отреставрированном здании монастыря двенадцатого века: с конференц-залом, внутренним двориком и видовым баром на канал – в десяти минутах ходьбы до *Rialto*? Мысли о Глебе вернулись и закрутились по новой – среди воспоминаний и грез. Вот они в полумраке кино, кажется, это была «Звезда» на Земляном – да, только там круглые столики, и его горячая ладонь, накрывшая ее колено.

Вдруг туман, словно загустев, налип ей на лицо, на руки, обдал влажной свежестью с головы до ног, обернул в мокрый саван, запутал ноги. Ната потеряла равновесие. Снова Венеция ставит подножку, пронеслось в голове. И опять чья-то сильная рука подхватила ее, сдернула с нее мокрое. Она увидела смутно знакомую красную куртку, кто-то низко наклонил к ней лицо, заулыбался. Боже, Дотторе Песте. Снова. Но сегодня без маски.

– Что это было? – удивилась Ната.

Он помахал руками, пытаясь разогнать туманный кисель и что-то показать ей. Она сделала шаг назад и увидела висящие на веревке между домами простыни. В одну из них она и влетела с ходу. Приподняв угол, Дотторе Песте шутиливо прикрыл их от возможных зрителей и впился губами в Натинины губы. От неподвижно висящего белья пахло лавандой.

Ната дернулась и поддалась.

3.

Ната крутилась перед старым трюмо в коридоре, примеряя платье: в *Palazzo alla Zattere* на набережной вечеринка V-A-C'ковского московского фонда, придумавшего проект «ДК». Уже месяц там идут выставки и перформансы, а сегодня ожидается модный музыкальный сейшен, на который она с трудом, через знакомых в Москве, раздобыла проходку.

Она смотрелась в зеркало и хмурила брови: нет, наверное, лучше брюки, платье слишком летнее, тонкая ткань выдает все несовершенства ее крепко сбитого тела. Надо больше ходить, хорошо бы сбросить пару кило к лету. Мелированные, переженные краской еще в Москве волосы, свисающие вдоль лица с не девичьим, массивным подбородком, склеены в сосульки. Ну, что с ними делать, задумалась Ната, глядя на террасу, где меланхолически покачивались на ветру майки и полотенца.

Студенческий дом – *Domus* – населяло исключительно женское общество, если не брать в расчет Лео и Карло, работающих на кухне. После войны, под присмотром монахинь, здесь находился приют для девушек, попавших в затруднительное положение. Потом в здании жили служащие железной дороги: недаром вокзал *Stazione di Venezia Santa Lucia* совсем рядом. Постепенно ситуация изменилась: в *Domus* стали принимать студентов, и снова только женского пола. Сейчас здесь

Ната с головой погрузилась в новую жизнь, испытывая состояние постоянной аллегрии, присущей итальянскому темпераменту. Она много смеялась, всему удивлялась и с удовольствием вошла в новый расслабленный ритм, свойственный венецианцам.

проживало восемьдесят молодых особ из разных стран мира – от Африки до Франции, – приехавших на учебу в университеты Венеции.

Ната прилетела в субботу, 1 февраля, и в выходные тешно пыталась сориентироваться в этом новом, фантастическом для нее пространстве. Все время хотелось ушипнуть себя: с ней ли это происходит? Могла ли она, девочка из Приозерска, чудом поступившая на бюджет в Вышку, мечтать об этом? Она ли втащила чемодан в это внушительное четырехэтажное здание, с высокой стойкой ресепшен и толстенным талмудом, в который, по старинке, ее записали как вновь прибывшую?

Однако, едва переступив порог, она ощутила своеобразное пыльное очарование этого места. В дверях комнаты с фортепиано, покрытым самодельной вышитой салфеткой, детскими рисунками на стене, сундуком вместо журнального столика, больше похожей на прихожую обычного дома, чем на лобби, показалась девушка в стильных роговых очках. Широко улыбнувшись, она сказала:

– Привет, я Анжела, я говорю по-русски.

И Ната выдохнула, ее английский, несмотря на сданный IELTS, был далек от совершенства. Здесь, на месте, выяснилось, что итальянцы предпочитают свой итальянский, а на английском говорят

далеко не все. То, что кое-то из местных прилично говорит по-русски, даже не представляла. Она сразу подружилась с Анжелой, которая помогла ей с заселением и провела по дому, показывая, что где. Нату разместили на четвертом, а Анжела жила на втором этаже. Итальянская подруга изучала русскую литературу, читая в подлиннике Достоевского и Толстого.

Необычный *Domus* имел редкий в Венеции лифт с распашными дверями, просторную учебную комнату с круглым балконом, библиотеку, копировальную, молельню – наследие приюта, зал отдыха с огромным телевизором и кожаным диваном и атмосферную столовую с панорамными окнами, которые использовали как выставочные витрины. Одним крылом *Domus* стоял на оживленной улице *San Polo*, по которой с утра до ночи двигались туристы от *Piazzalle Roma* к *San Marco*. И это не говоря о видовой террасе – на Натином, четвертом этаже, размером с однокомнатную квартиру ее бабушки. В стоимость проживания были включены обеды и ужины, и с вечера студентки выбирали блюда на завтрашний день, отмечая их крестиками в меню. Самостоятельно Ната этого сделать не могла, но любая из девочек охотно помогала ей.

Когда Ната впервые пришла на ужин, ей показалось, она попала на съемки фильма, действие которого происходит в монастырской трапезной. За длинными столами, стоящими в несколько рядов, в большом зале с пятиметровыми потолками, где на колонне висела деревянная икона Спасителя, сидели и ели девушки, очень много девушек. Ната на секунду замешкалась с подносом, высматривая Анжелу и не зная, куда сесть.

В первом ряду она увидела настоящую монахиню: черная сутана, белый накрахмаленный апостольник. На ее груди висел крест, и она, как все, невозмутимо ела пасту. Менеджер *Domus* Сара, сидевшая рядом с ней, приветливо махнула рукой: давай к нам. Ната инстинктивно поклонилась монахине и присела с краешку. Она начала задумчиво есть, думая, что для полноты картины им всем не хватает только форменных платьев воспитанниц монастыря.

Сначала она немного смушалась, не зная, как себя вести, но постепенно познакомилась с девочками, если что-то не понимала – выручала Анжела. Комьюнити *Domus* было совсем не похоже на общежитие в Москве. Там, несмотря на новый ремонт, двухъярусные кровати и общий холодильник, каждый был сам по себе. Здесь же все делало сообща: дежурили, пили после обеда кофе, зани-

Длинный и узкий остров-сосед был сплошь зеленым – весь в дрожащих узорах тени, в отличие от Венеции, скрывающей в своих недрах лишь несколько небольших скверов. Исключая разве что сад *Giardini della Biennale* в районе *Castello*, большой и привольный, известный редкими видами деревьев и трав. Не спеша, минут за пятнадцать, они пересекли *Lido* в ширину, успев подмерзнуть. «Зачем я надела короткие носки», – подумала Ната. Щиколотки горели от холода. Уставшие от тревожных новостей и учебной недели, дорогой они не разговаривали.

– А давай каждые выходные – новый остров! Махнем на *Burano*? – очнулась Света, когда они подошли к центральным воротам пляжа.

Неказистые постройки на входе, где располагались кафе и касса, напоминали неухоженные строения родного юга. Перпендикулярно им, вдоль проезжей части, тянулись шеренги кустарников и деревьев, в жару отлично спасающих от солнца.

– А если остров *Poveglia*, слышала? Туда свозили чумных... и ставили эксперименты – в психиатрической клинике. С тех пор их души блуждают по острову. Но вроде бы туда не попасть, – отвечала Ната.

Но Света уже не слышала: она выбежала на простор, взметая пятками на бегу песок, и закружилась по пляжу.

Ната осмотрелась – пляжная полоса вольготно раскинулась в стороны, лишь изредка выбрасывая в воду пальцы волнорезов. Мерцающее, переливчатое – синее море пенилось у берега шипучей, газированной волной. Ната пошла к нему, вслушиваясь в сдержанный голос прибоя. Девушки постояли, запрокинув вверх подбородки и подставив лица порывам ветра. Холодно! Ната потеряла ладонки и побежала вдоль моря. Света за ней. Безлюдно, только крошечные фигурки людей впереди прыгают перед глазами.

Они вскоре устали и, чуть задыхаясь, остановились у груды камней. На перекинутых кем-то дощечках устроились на пикник. Есть пришлось быстро: ветер, дующий сразу во всех направлениях, не стеснялся и мешал наслаждаться. Они запили вином пухлые сэндвичи с прошутто и рукколой, а чипсы прихватили с собой. Хватая их жирными пальцами, как голодные чайки, опустошили пакетик, который тут же вырвался из рук.

Чуть опьянев от вина и бриза, молча побрели по берегу. Песок, усеянный ракушками, влажно хрустел под ногами. Справа тянулся широкий

песчаный вал, за ним симпатичные деревянные домики, выкрашенные белой краской. Их было много, они стояли сказочно ровными рядами, тесно прижавшись друг к другу. Не здесь ли встретились Ашенбах и Тадзио у Висконти? Света, словно подслушав Нату, спросила:

– Заметила, мы прошли *Grand Hotel des bains*, из «Смерти в Венеции»?

– Вон тот, с часами? Выглядит заброшенным, – обернулась Ната.

Старая громада отеля с заколоченными окнами, огороженная забором, возвышалась сразу за пляжем. Пробежала парочка бегунов с голыми сиамскими ногами, даже смотреть на которые было зябко, с ритмично болтающимися проводами наушников. Беспечно поблескивая вдали, ближе к берегу, море тревожилось седыми бурунами. Возле гладкого волнореза, зажатого по бокам хаотично лежащими камнями, вода пенисто разбивалась, закручиваясь вверх хвостами невидимых дворняжек.

Подруги дошли до белого Дворца кинофестивалей, фасад которого был завешан зеленой строительной сеткой, а территория обнесена лентой: шла реконструкция. Девушки разочарованно переглянулись: оказывается, «Венецианских львов» раздавали в обычном здании, похожем на трехзвездочный отель. Частокол пустых флажтоков вхолостую колот небо, не доставая до сахарной ваты облаков. Они обошли здание вокруг и увидели видовую площадку: перед ними плескалось море, разлинованное тонкими прутиками забора. По линии горизонта скользил лайнер внушительных размеров. Рыжую мелкую плитку, состоящую из скелотых квадратиков, тоже следовало подновить.

Они прямо здесь допили вино, чокаясь пластиковыми бокалами, как обиженные фанаты кино, которых не пустили в зал. Тут на Свету что-то нашло. Кривляющейся походкой, виляя бедрами, она стала ходить по площадке, изображая кинозвезд. Ната, сначала беззвучно смеявшаяся, расхохоталась в голос, когда Света повязала на голову шарф чалмой и, уморительно вскидывая руками, стала бросать на ходу реплики капризным, изломанным голосом. Ната стала изображать фотографа-папарацци, шелкая ее выходы. Подруги совсем разошлись и какое-то время от души дурачились и потешались.

Мимо проехал рейсовый автобус, они перебежали улицу и, взлохмаченные, пошли в сторону причала, обсуждая попадающиеся на глаза виллы. В пышных кустах растительности прятались ка-

Эта сторона здания была заросшей, старый сад подступал к стене, и в ряблящих просветах ветвей ей чудился настигающий ее белый клюв. Ната почти бежала, от страха прижмутив веки. Вот она выскочила на открытое место перед красной дорожкой. Сердце выскакивало из груди.

литки, через которые проглядывали таинственные дорожки. Интересно было гадать, кто и почему там живет. Поравнявшись с Гранд-отелем, Ната остановилась.

– Смотри, дыра. Давай глянем, как там внутри. Где там плел любовные сети Ашенбах?

Посмотрев по сторонам, подруги юркнули в разлом, заслонив его сорвавшейся с гвоздя доской. Полное запустение былого величия оказалось обманчивым. К парадному входу вела красная ковровая дорожка, потемневшая от влаги. По краям стояли узкие короба как будто бы недавно высаженных в черную землю магнолий с толстыми, мясистыми листьями. Подруги беспокойно оглянулись – высокий забор надежно скрывал их присутствие. «Вот это да», – ахнули одновременно.

Они пошли по дорожке, хлюпающей под ногами, к центральному входу с массивными колоннами. Ната, не веря глазам, погуглила. Оказалось, на Венецианском кинофестивале в прошлом, девятнадцатом году здание частично работало. Просторный холл со знаменитым морским видом привели в порядок и использовали как выставочный зал. Сейчас входные двери были закрыты, и, опасаясь возможных камер, которых не было видно, подруги не стали рваться. Хотя искушение было велико.

Они решили обойти отель по периметру и от греха подальше ретироваться. Неизвестно от-

куда, в памяти Наты всплыли фразы из фильма: *«Изумительное начало сезона. Только небольшой сирокко»*, вкрадчиво звучащие на фоне протяжной симфонии Малера. Они не стали подниматься по ступенькам на открытую площадку перед входом, а пошли направо. Одинаковые окна с маленькими балкончиками, на один из которых, видимо, и выходил Ашенбах, были закрыты ставнями. Бок отеля имел высокие, в три этажа, глухие проемы – как раз там, где была выставка.

Света ненадолго отлучилась. Ната, задирая голову, тихо обходила громаду, несколько подавленная увиденным. Жизнеспособное, реанимированное основание отеля высилось безжизненными этажами, гниющими у всех на виду. Вокруг отеля буйствовала южная растительность, и Ната испуганно оглянулась. Ей показалось, кто-то смотрит на нее сквозь листву. Где Света? Стараясь не поддаваться панике, она вышла на лужайку с высокой травой и стала разглядывать противоположный главному вид.

Каменная кладка в один этаж, мощная балюстрада смотровой площадки, каменные вазы, колонны. Кто-то настойчиво буравит взглядом между лопатками. Что ему надо? Обернуться страшно. Может, это Света из укромного места? Позвать бы ее, но голос прилип к горлу. И снова из кино: *«Мы зарезервировали для вас лучший ножер... Неужели вы действительно верите в красоту как в результат работы?»* Она и не предполагала в себе такую память на цитаты, хотя фильм пересматривала совсем недавно в Москве, до отъезда.

Ната буквально заставила себя пойти, выудив из кармана мобильный, чтобы набрать Свету. Огибая здание и тыкая в кнопки, она приподняла голову и среди желтых махровых цветков раскидистого дерева увидела мелькнувший лакированный проблеск. Дотторе Песте? Не может быть. Откуда он здесь? *«Художник подобен охотнику, целящему в темноте... Нельзя потрогать душу... Сирокко дует три дня...»* Господи, Висконти, замолчи! Ната припустила, руки царапали иглы каких-то кустов.

Чего она боится? Или кого? Зажатый в руке мобильный бесполезно кричал Светиним голосом. Ната забыла, что отключила звук. Эта сторона здания была заросшей, старый сад подступал к стене, и в ряблящих просветах ветвей ей чудился настигающий ее белый клюв. Ната почти бежала, от страха прижмутив веки. Вот она выскочила на открытое место перед красной дорожкой. Сердце выскакивало из груди. Светы

нет. С моря налетел ветер, сдувая выступившие на лбу капли пота.

Она подняла мобильный, мигающей включенным экраном:

– Ну, ты где? Я кричу-кричу, не отвечаешь. Замерзла, жду у дыры. Пошли.

Ната что-то ответила, глядя на ползущую по красной дорожке газету. Ворошась на ветру картинками карнавала, она замерла на заголовке: «*Il Gioco, l'Amore e la Follia. Game, Love and Folly*» («Игра, любовь и безумие – тема карнавала – 2020»).

Откуда взялась эта газета?

5.

Ната резко подняла чашку с подставки, и лежащая там горстка изюма, взметнувшись салютом, беспомощно разлетелась по полу. «Господи, вот безрукая, – раздосадовалась Ната. – Или нервничаю?»

Неделя без учебы прошла странно. Учебный отдел *Ca'Foscari* сыпал письмами, в мягких формулировках вводя запрет на перемещения по стране и за ее пределами. 7 февраля в Риме впервые заболел итальянец, вернувшийся из Китая. Первые случаи заболевания китайцев в Италии были отмечены еще 31 января, после чего авиасообщение с Китаем прекратили. Однако студенты, обрадовавшись неожиданным каникулам, и не думали сидеть дома.

Кто-то улетел в Париж, кто-то в Мюнхен. В «Фейсбуке» встречались посты с чемпионата Италии по футболу с фотографиями студентов-болельщиков на трибунах Милана. *Domus* забеспокоился разговорами, перезвонами, недоумением, расшатался навязчивым просмотром новостей. Ната и Анжела оставались в Венеции. Никто из родни итальянской подруги, навешавшей дедушку в доме престарелых, не заболел. Анжела хотела вернуться домой, но родители просили ее оставаться в *Domus* – из соображений безопасности, цифры по заболевшим в Ломбардии были значительно выше.

В первый же день вынужденного простоя в учебе, выйдя на улицу, Ната встретила Александра, невозмутимо сидящего напротив входа в *Domus*, в кафе. Никак не приветствуя ее и ничего не говоря, он жестом пригласить ее сесть, взял кофе и круассаны. Они перебросились парой фраз, и начался их безмолвный, тягучий роман. Или продолжился? Если считать тот поцелуй точкой

отсчета. Растерянная Ната каждый день задавала ему вопрос: «Не улетаешь?» Александр отрицательно качал головой, Ната успокаивалась: «И я».

Ее подмывало спросить про *Lido*, но все время было не к слову. Да и зачем ему следить за ней? Видимо, показалось. Тем более что почти все время они молчали. Молчание не было ни пустым, ни гнетущим. Напротив – они молчали как два заговорщика, точно знающие, что слова ни к чему. Они все испортят. Они договаривались о месте встрече – никто не опаздывал – и начинали кружить по мостам и переулкам, площадям и каналам. Витиеватые маршруты не повторялись, а концентрат венецианских красот зашкаливал, доводя их до чувственного предела. Иногда Ната открывала рот, желая что-то спросить, но, встречаясь взглядом с Александром, передумывала, читала по глазам – нет. Или да. Полутона были не нужны.

Иногда, пригибаясь под низкими проемами в тупиковых кале, безлюдных местах, он словно случайно касался губами ее виска или затылка. Ната, забывая, что они на улице, инстинктивно замедлялась, вслушивалась в себя – с ужасом ощущая, что ждет еще. Что настоящий диалог, возможный между ними – там, впереди, за невидимой чертой. Александр не напрягал, не торопил, не навязывал – просто был рядом. И ей хотелось идти рядом с ним. Повисшее в венецианском воздухе искусственное затишье обостряло простое и человеческое.

Словно что-то почувствовав, а может, просто выздоровев, Глеб стал писать, интересоваться ее настроением и учебой. Теперь Ната отвечала односложно, уклончиво, не готовая раскрыться или прекратить переписку. Да и что за причина: я молчу с другим, с тем, кого толком не знаю. Дотторе Песте, возникший из завесы дождя, не дал ей утонуть. «Как, интересно, повел бы себя Глеб?» – думала Ната, разглядывая Александра в профиль.

Часть его щеки, с небольшим аккуратным ухом и прозрачной мочкой, напоминала ей отца.

В День всех влюбленных, 14 февраля, они, не договариваясь, протянули руку к одной и той же книжке в знаменитом магазине *Lidreria Acqua Alta*. Это был необычный путеводитель Тициано Скарпа «Венеция – это рыба» на английском, который каждый захотел купить другому в подарок. Они одновременно взяли за мягкую обложку, собираясь пойти на кассу, но многочисленные посетители магазина, невольно пихающие сзади и сбоку стоящих у полок, толкнули их друг на друга. Ната всем телом вписалась в Александра,

идеально встроившись в его габариты. Защищая ее от толчков, он заключил ее в кольцо рук. Кровь ударила в голову: сегодня.

Александр заплатил за книжку, Ната купила старинную открытку с заснеженной Венецией. Они молча обменялись подарками, не подписав их, о чем Ната потом жалела. Потоптавшись в уникальном книжном, утопающем в грудах своего товара, они заглянули через специальный пожарный выход на канал *Rio della Tetta*, оценили юмор и книжную вместимость гондолы, установленной в центре зала, и вышли в крошечный дворик – излюбленное место для фотографий. Желающие могли вскарабкаться прямо на стопки – высотой в человеческий рост – старых, некогда подмокших при затоплении книг, с волнистыми распухшими страницами и попозировать.

Александр фотографироваться не захотел, а Ната охотно залезла по книгам, как по ступенькам, на самый верх, и смущенно улыбнулась Дотторе Песте. Он успел один раз нажать на кнопку, как расшалившиеся дети, не уступив друг другу дорогу, пошатнули непрочные бумажные ступени, и Ната полетела вниз. Александр успел ее поймать и буквально вынес из магазина, подпираемый плотным потоком туристов. Несколько котов, картинно восседающих на полках, жалобно мяукали, попав хвостами или лапами между людьми.

Было восемь вечера. Церковь *Santa Maria Formosa* рассыпала по округе колокольный звон. Александр, держащий за руку Нату, уверенно шел по незнакомому и отдаленному от *Domus* району *Castello*, как будто бы торопясь. По крайней мере, это было не похоже на их обычную прогулку. Любопытная Ната не следила за меняющимися видами, словно вмиг отупела. Оказавшись под глубокой аркой какого-то нежилого дома в нише, Александр, молча добравшись до своей и ее кожи, намертво вцепился в нее – и «заговорил». Где-то внизу ритмично и нежно плескалась и билась о ступени вода.

Потом, подойдя к каналу, они сидели на невысоком парапете и глядели на его бутылочную, непроницаемую поверхность.

– Когда ты удивляешься, ты поднимаешь брови, как мама. А мамы давно нет.

6.

Ната так и не купила венецианскую маску. С понедельника учеба возобновилась онлайн. Это было непривычно, сложно. Она больше уста-

вала, терялась, когда ее спрашивали преподаватели, не все слышала, не все понимала, забывала включить то звук, то видео. И мечтала, что занятия закончатся и она встретится с Александром. Он был молчалив, спокоен, но в узких переулках и потайных местах уже не касался губами ее виска – боялся потерять контроль, как и она. Но их молчание оставалось особенным, глубоким.

Еще одну неделю они встречались вечером, после ужина, а иногда и дважды – днем тоже. Натe хотелось расспросить его о семье, об учебе, о городе, где он вырос. Но они встречались, и молчание опаляло их, замыкая внутри вопросы. И они бродили, разглядывали, замирали, словно напивались, опьянялись увиденным впрок, с каждым днем трудней расставаясь, все дольше и дольше задерживаясь друг с другом.

В один из вечеров по скайпу позвонил Глеб и без всяких предисловий заявил, что Ната *какая-то другая – что случилось?* У Натy лихорадочно блестели глаза, подсвечивая новым внутренним светом тонкий пушок щек, припухлые губы. Она по-прежнему не знала, что сказать, как объяснить тайный сговор с безмолвным Дотторе Песте. Ей казалось, реальность Венеции – уже маска, но в этой декорации пробудилась, проклюнулась настоящая она. Человек, находящийся в Москве, не способен почувствовать это.

Может, поэтому она так и не смогла выбрать маску. Перебрав, перешупав, перемерив все: сложные папье-маше с перьями, вышивкой и кружевами, пластмассовые с росписью дешевым акрилом и клееными стразами, закрывающие лицо или только глаза, с вуалью, бубенцами и лентами – разнообразие масок было неисчислимым. Но маска под маской – уже перебор, и Александр тоже не надевал свой лакированный клюв. Ей казалось, маска не просто прячет, а обезличивает, сливает с толпой. В этом нет ничего живого: нарядиться мертвецом жаждет только безумец.

Венецианский карнавал прекратили досрочно. В конце недели везде писали и говорили только об этом. Центральная карнавальная тема: «Игра, любовь и безумие» глюкнула и зависла. С сайта *DallaZeta*: «Обновление 23 февраля 2020 года: из-за текущей ситуации с коронавирусом в Италии Карнавал в Венеции был приостановлен. Следовательно, 24 и 25 февраля запрограммированных празднеств и шествий не будет». За бортом остались «Полет орла» и «Полет льва» с колокольни *San Marco*, кулачные бои семейств Нико-

лотти и Каstellани, финал конкурса на самую красивую венецианскую маску.

22 февраля, в соседней Падуе, от ковида скончался семидесятивосьмилетний мужчина. Произошли новые случаи заражения в Ломбардии и Венето. 23 февраля число зараженных в Италии превысило сто человек, за несколько дней число инфицированных увеличилось с четырех до ста тридцати восьми, двое погибли. Италия заняла первое место по числу заболевших в Европе.

7.

– Вот, подпиши здесь, это пропуск, по которому можно выходить в город. Для этого должна быть причина, а расстояние от *Domus* должно составлять не более пятисот метров. Штраф – двести шесть евро.

«Если без оплаты жилья, с готовой едой, как у них, – на эти деньги можно прожить месяц», – подумала Ната. Она, уже час стоящая в очереди в конторке менеджера на втором этаже, наконец получила и заполнила документ, так называемый сертификат личной ответственности – обычный лист А4, куда вписала свои паспортные данные и место проживания в Венеции, обязуясь выходить только в случае необходимости. Аптека, магазин, выгул собаки, спортивная пробежка. Внизу листа оставалось место для подписи полиции. Если патруль сочтет цель перемещения не убедительной – доставай кошелек.

Прогулки с Александром стали невозможны. Публичные мероприятия запретили. Музеи и театры прекратили работу. Дедушку Анджели похоронили – тихо, без многочисленной родни, многие были преклонного возраста. *Domus* опустел: из восьмидесяти студентов, проживающих на момент приезда Наты в Венецию, осталось шестнадцать. Удачный момент возвращения в Москву она упустила: авиасообщения с Россией, как и с другими странами, не было. Теперь все носили маски и соблюдали дистанцию в полтора метра.

Первые дни, когда ввели запрет, Ната вышла пройтись и забыла сертификат дома. Стоял один из тех переходных дней, когда свежий ветерок перестает холодить и лишь слабо дышит в лицо приближающейся весной. Ната спустилась пешком с четвертого этажа – ездить в лифте теперь разрешалось по одному, и его приходилось долго ждать, взяла на ресепшен маску и вышла через дворик в запасную калитку. Центральный вход с *San Polo* тоже закрыли. Она пошла кратчайшей дорогой на *Zattere*.

У *Scuola di San Rocco* остановилась, проверила расстояние до магазина *Conad* – один километр восемьсот метров. Да, не пятьсот. Постояла в нерешительности. Вокруг ни души. Эх, была не была. Пустая Венеция гулко отдавалась каждым шагом в проулках, неожиданно став слишком просторной для нее одной. Через двадцать минут она увидела длинный хвост людей, стоящих за продуктами на *Zattere*, на расстоянии друг от друга. Ощущение сюрреалистичности нарастало. Ната пошла вперед, надев темные очки, – здесь по-летнему припекало.

Она с удовольствием прошла по набережной, грустно думая о Дотторе Песте. На обратном пути, чувствуя, что пора возвращаться, увидела патруль. Трое в полицейской форме останавливали прохожих и проверяли сертификаты. Ната поискала в сумке и покрылась холодным потом – она не взяла. И лишних денег у нее нет. Она пристроилась за пожилой леди с терьером на поводке. Патрульные продолжали стоять, что-то выясняя у парня с девушкой. Ната прибавила шаг и при первой возможности нырнула в узкий проем между домами. В *Domus* она возвращалась бегом. Ворвавшись в фойе, пригладила волосы, заметив, что ее раскрасневшееся лицо рассматривает строгая Кьяра, одна из итальянских студенток.

Через какое-то время ее вызвала Сара: «Ната, ты не можешь так поступать с нами. Правила одинаковы для всех. Сегодня тебя не было слишком долго. Пятьсот метров, запомнила?» Ната закивала. Да. Обстановка в *Domus* становилась тревожной. Уехавшие на неопределенное время студентки отказывались платить за проживание, персонал сократили до минимума. Даже в помещении надо было носить маску, а ужины и обеды проходили за столами, размеченными скотчем в соответствии с необходимой дистанцией.

Руководство переживало, что общежитие закроют. Отели Венеции не работали, и всем иностранцам следовало возвращаться домой. Но как быть с теми, кто живет далеко и вылететь уже не может? Каждый день ждали проверяющих, меры предосторожности соблюдали неукоснительно.

На четвертом этаже Ната осталась одна. Общие ванны и туалетные комнаты сделали персональными: на дверях вывесили таблички с именами «владельцев». Учебную комнату и библиотеку закрыли. А в комнате отдыха можно было находиться только вдвоем – на расстоянии. Первое время Ната и Александр продолжали встречаться на вапоретто. Она селились на *Piazzale Roma* и,

занимая соседние сиденья – через одно место, проплывали пару остановок, держась за руки. Молчание уже не казалось прежним, что-то сгустилось, тяжестью висело в воздухе.

А потом ограничения ужесточили. Штраф увеличили до четырехсот евро, и количество патрулирующих возросло. Венеция, лишённая толп туристов, вздохнула и замолчала, надолго забыв все возможные языки и диалекты. Александр и Ната, напротив, начали говорить. Еле дождавшись окончания лекций, они списывались и начинали долгие беседы по телефону. К Нате стучалась Анжела, девочки, но она все время была занята.

8 марта Александр позвонил, поздравил с праздником и назначил свидание: «Приходи к *Frari* вечером, в восемь». Волнуясь и предвкушая необычное, Ната принарядилась, накрутила волосы. Пусть полчаса, все равно, радостно сбегала она со своего четвертого этажа. Она быстро дошла до кампо, где стояла базилика, сложенная из красноватого кирпича. Встала напротив входа, ровно восемь – словно уроненный, громогласно рассыпался колокольный звон.

Дотторе Песте ни разу не опоздал. Ната прошла к каналу, поднялась на мостик. Если повезет, они смогут нырнуть во дворик, обняться. В голову ударила кровь, как тогда, 14 февраля. Канал безмятежно блестел своей обычной зеленью, а внутри нее ритмично плескалась вода того дня. Где же ты, где? Ната тревожно посмотрела на часы, восемь пятнадцать – стала звонить. Абонент недоступен. Певуче, по-итальянски.

Александра не было и в восемь тридцать, и в восемь сорок пять. В девять, боясь патруля, магазины уже закрылись, Ната вернулась в *Domus*. Колокол бил так громко, что она зажала руками уши. Она звонила не переставая до ночи. Утром Анжела раздобыла номер его общежития и сама позвонила туда. Дежурный с ресепшен обещал проверить и перезвонить. Ната провела весь день на террасе, тревожно скользя взглядом по черепичным крышам и балконам соседей.

В час перезвонили. Александр не открывал дверь, он жил один. Спустя два часа ее вскрыли: все вещи на месте, но его нет. Полиция Венеции собирает сведения патрулей. Вам сообщат. Ната взяла в руки книжку *Скарпы*, подаренную Александром, и не выпускала ее из рук.

Его не нашли ни через сутки, ни через неделю, ни через месяц. Никто из соседей, приятелей и друзей ничего не знал. Примерно с восемна-

дцати часов вечера 8 марта его никто не видел. В больницу Венеции и других городов Италии пациент с такой фамилией не поступал. Среди погибших или умерших не значился. Ната перестала спать и есть, в короткие моменты забытья она соскальзывала в канал, и сильная рука выдергивала ее на берег. Глеб, словно сойдя с ума, звонил каждый день, Ната через раз снимала трубку. Он списывал ее состояние на стресс пандемии.

23 марта Ната села на карантин и вышла на улицу через сорок три дня – 3 мая. Она приехала на *Lido* и бросилась к Гранд-отелю: разлом в заборе был заколочен, на территорию попасть невозможно. «Игра, любовь и безумие Венецианского карнавала – 2020» – мерещилась на ветру газета.

Ната двинулась вдоль моря и ушла так далеко, как смогла уйти. Остановилась возле перевернутой облупившейся лодки, достала из рюкзака маску Дотторе Песте и медленно опустила ее в воду. Лакированный белый клюв покорно лег на волну и закачался, теряясь из вида.



АДЕЛАИДА



ДАРИНА СТРЕЛЬЧЕННО
Родилась в 1995 году. Окончила глазовский физико-математический лицей и Московский инженерно-физический институт. Журналист, писатель,

нопирайтер. Автор более сотни рассказов и трех книг в жанрах фэнтези, антиутопии и мягкой научной фантастики. Победитель премии «Новая фантастика» (2022).

– Ада, – крикнул я, – свари кофе!
Вместо того чтобы послушно загреметь туркой, она недовольно попросила:
– Не называй меня Ада.
Но все же отправилась в кухню.
Странные пошли роботы, однако.
– Ада, как тебе новый сезон «Рассказа служанки»?
– Я же просила: не называй меня так! – раздраженно проговорила она. Поправила волосы из канекалона и примирительно произнесла: – Аделаида. Несложно, правда?
– Слишком длинно.
– Люди совсем разучились запоминать, – хмыкнула она. Матово блеснуло полихлорвиниловое веко – совсем как настоящее.
– Ада... Аделаида! Срочно скорую! Площадь Карнавалов...
– ...Тринадцать, квартира двадцать пять, – подхватила робот. – Я вызвала. Уже. Слышала, как ты звонил маме. Судя по тому, что она описала – просто отравление. Все будет в порядке. Не переживай.
– Спасибо, Ад... делаида...
Я начал подозревать, что с ней что-то не так, в первый же вечер. Она сразу же начала обращаться ко мне на «ты»; иногда подкалывала; часто капризничала, когда я ставил ее на зарядку. Дальше пошли эти выкрутасы с именем – а ведь по до-

кументации универсусам вообще плевать, как их зовут. А потом она интерпретировала мой разговор с мамой и, предупредив мою просьбу, вызвала врача. Я перечитал инструкции и убедился: хики-роботам такая эмоциональная интерпретация недоступна.
Тогда-то я и решил показать ее специалисту.
– Ты оделась?
– Тебе больше нравится синее платье или зеленое?
– Зеленое.
Для робота, призванного стать идеальным компаньоном, вопрос вполне стандартный. Нестандартно вышло, когда Ада появилась из гардеробной в синем.
– Я же сказал, мне больше нравится зеленое.
– А мне – синее, – улыбнулась она и пошла открывать дверь: Вадим, вопреки ожиданиям, явился минута в минуту.
– Привет, привет! – Он кивнул мне, галантно поклонился Аде. – Что там у вас стряслось? Барахлит зарядник?
– Ничего у меня не барахлит, – насторожилась Аделаида.
– Не барахлит, не барахлит, – кивнул я. – Сделай нам кофе.
– Не бережешь сердце, – вздохнула робот и скрылась за стеклянной дверью кухни.

- Что? – как можно мягче спросил я, подкатываясь к ней вместе с креслом.
- Не выключай меня больше.
- Я и не собирался.
- Не выключай, пожалуйста.
- Что такое, Аделаид? Даже если выключить, ты же все равно проснешься, как только подключишься к сети.
- Понимаешь, – она приподнялась на локте, поймала мою руку, прижала к щеке, – я испугалась сегодня. Это очень холодно – засыпать. У меня такое чувство... что если отключат, то я уже не включусь.
- Я погладил ее пальцы, поправил одеяло.
- Никто тебя не отключит. Все будет хорошо.
- А что сказал твой друг?
- Я же тебе объяснил. Просто почистил пыль на эмоклапане, проверил схемы...
- Нет. Ты не понял. Я имею в виду – что он на самом деле сказал? Я же чувствую, что эмоклапан не трогали. – Аделаида нетерпеливо дернула плечом. – Я бы поняла, если бы он что-то чистил.
- Ну... Слушай, ты лучше у него спроси. Мне он именно так сказал.
- Ада посмотрела на меня грустно и с обидой.
- Я же даже в выключенном состоянии воспринимаю волны – вы ведь не поставили общую блокаду. Я проснулась и интерпретировала...
- Она помолчала, мягко улыбнулась и виновато добавила:
- Я же чувствую, когда обманывают.

* * *

Зря я позвал Вадима. Он открыл мне глаза. А может, его действия сделали щель в клапане еще шире: теперь я отчетливо видел, как Аделаида меняется, становится все умнее, все человечней. Она жадно вбирала и интерпретировала новый опыт, все меньше походя на сошедший с конвейера прототип, все больше напоминая индивидуально настроенного антропоморфа.

Совет не показывать ее людям плохо сочетался с целью, для которой я приобрел Аду. Для покупки, пусть даже в «Шелковой дороге», мне пришлось влезть в долги, и теперь нужно было отдавать кредит, жить самому, содержать робота... Отказаться от работы выглядело немислимым. Так что я продолжал шить шмотки, а Ада каждый день выходила на подиум, чтобы вертеться перед экспертами и позировать фо-

тографам, клепавшим объемные натуры для виар-шопов.

Сказать, что я жалел о ее покупке, – соврать. Своя модель – это настоящая роскошь: пропорции, которые можно подкрутить в соответствии с продукцией, походка, которую можно скорректировать в зависимости от подиума, коллекции и предпочтений жюри, безлимитные примерки и возможность перенастраивать внешность без страха испортить арендованного робота. Кроме того, она была нужна мне для Недели робо моды. Если меня заметят, пойдет уже совсем другая история: не придется выбивать заказы, выскидывать жилье по дешевке, обходиться стандартными материалами... Я получу допуск к цифровой материи, если повезет – возьму заказ на разработку моделей для конвейера... А это уже совсем другие деньги! Совсем другие перспективы...

От мечтаний разморило; я чуть не проглотил зажатую во рту булавку и спустился с небес на землю.

Чтобы все получилось, предстояло пахать и пахать.

Я готовил коллекцию для Недели робо моды ночами – Аде было хоть бы хны, а я жестко недосыпал, но желание пробиться перевешивало все. Тем более на первых порах мы с ней сработались просто отлично. Я смог творить почти круглосуточно, подновил и выставил на продажу старые коллекции: на подтюненной Аде даже прошлогодние шмотки выглядели вызывающе аппетитно. К концу квартала почти выплатил кредит, купил ей мощный зарядный блок, мы слетали в Египет. Дальше пошло еще круче. А потом... Потом и проявилась ее нравность.

Впрочем, я оказался нравен не меньше, в один из вечеров подумав, что мне совсем не хочется, чтобы Ада выходила на подиум. От мысли, что на нее вновь будут пялиться жюри, спонсоры, эксперты и – в отдалении – толпы чужих мужиков, подкатывала тошнота.

Я тряхнул руками и выругался. Ада ойкнула: я случайно уколол ее иголкой.

- Прости!
- Задумался?
- Ага...

Я посмотрел, как она глядится в зеркало, как трогает подшитый низ платья, ощупывая ткань длинными загорелыми пальцами. Решил, что Неделю робо моды мы отработаем на двести процентов.

А потом заляжем на дно.

Ада дергала меня,
звала в кафетерий,
в зону интерактива,
просилась познакомиться
с другими моделями, но
я отмахивался, заставляя
ее сидеть рядом.
На субботу был назначен
наш выход, и я страшно
нервничал, что с ней
что-то произойдет.
Подпортить чужую модель –
на таких мероприятиях
это считалось едва ли
не хорошим тоном.

* * *

В понедельник отгремело оглушительное открытие. Салют, фонтаны шампанского (Ада попробовала, но сказала, что ей не понравилось), фуршет, блеск чужих коллекций... Я рассматривал их с замиранием сердца: изучал фактуру, швы, покрой, лекала. Раньше я мог разглядывать шмотки только на экране, но в этом году у меня появился робот, и я наконец купил билет: дизайнеров пускали на выставки только в паре с моделями.

Вторник и среду я не отрывал взгляда от подиума: шли коллекции корифеев. Ада дергала меня, звала в кафетерий, в зону интерактива, просилась познакомиться с другими моделями, но я отмахивался, заставляя ее сидеть рядом. На субботу был назначен наш выход, и я страшно нервничал, что с ней что-то произойдет. Подпортить чужую модель – на таких мероприятиях это считалось едва ли не хорошим тоном.

Весь четверг я подшивал, подгонял, перекраивал и наводил лоск на свою собственную коллекцию. Аделаида нервничала: видимо, мое лихора-

дочное состояние передалось и ей. К вечеру мы заказали таксокар и повезли коллекцию в павильон. Зашли со служебного входа: с парадного, из-за репортеров и гостей, было не пробиться. Я миновал турникет; держа на весу бесценный вакуумный пакет со сжатой одеждой, прошел уже десяток шагов, когда услышал сзади испуганное и беспомощное:

– Дима!..

Оглянулся. Ада растерянно стояла перед турникетом, такая красивая, непорочная и яркая в дерзком неоновом свете, а за локоть ее держал дубина-охранник.

– Просрочена лицензия, – скрипуче заявил он.

Я запрокинул голову, выругался про себя, сжал бы кулаки, если бы руки были свободны. Как некстати! А ведь говорил себе, что нужно проверить... Лицензия действовала год и активировалась на следующий день после покупки робота. Но мастера «Шелковой дороги» часто проводили оживление по лицензии другого робота – уже списанного, но еще не утилизированного. Ада оказалась не исключением...

– Просрочена лицензия, – повторил охранник.

На робота было жалко смотреть.

– Это я виновата... – всхлипнула Ада, забиваясь в угол таксокара.

– Да при чем тут ты, – буркнул я. – Я же хозяин... Нужно было позаботиться.

– Я могла напомнить... Забыла...

Нормальные хикки-роботы о таких вещах не забывают – что еще раз доказывало, что Ада – не нормальна.

«Не свети ее» – вспомнил я слова Вадима. Потом вспомнил, какой гонорар полагался за выступление на Неделе робомоды. Вспомнил, какие открывались перспективы.

Живут же люди с роботами-нелегалами. Как-то решают проблемы с лицензией. Не я первый, не я последний.

– Аделаида.

Она вскинула голову; в глазах вспыхнули огоньки пронесившейся мимо ночной столицы.

– Собери свои документы. И запиши меня в МФЦ на завтра. На самый поздний слот.

* * *

– Добрый день. Мне нужно обновить документы на замещающего робота.

– По утере или по графику?

– По графику.

Я протянул в окошко папку с бумагами Аделаиды, мысленно повторяя легенду.

Если верить статистике, вечером пятницы служащие бывают не очень расторопны и не слишком внимательно всматриваются в документы. Но, увы, мне попалась служащая иного сорта. Несмотря на то что ее коллеги в соседних окошках уже гремели стульями и натягивали плащи, она помахала моей папкой и воззрилась не без сомнения:

– Это не замещающий робот.

– О, извините... У меня их два, один замещающий и один хикки. Видимо, перепутал... Прошу прощения.

Я протянул руку, но служащая не спешила отдавать папку.

– Вы в курсе, что лицензия на... – Она быстро взглянула в паспорт и снова воззрилась на меня: – Аделаиду просрочена?

– Мм... возможно. Я займусь этим, – пообещал, берясь за уголок папки.

– Вы знаете, что владение роботом без лицензии влечет за собой административную ответственность?

– Да, да. Прошу прощения. Я займусь этим завтра же... Вернее, в понедельник, с самого утра.

Служащая резко дернула на себя папку и бросила паспорт Аделаиды на сканер.

– Я поставлю вас на контроль.

– Мм... Мы можем обойтись без этого? – улыбаясь самой очаровательной улыбкой, про которую Ада говорила – лорд, – спросил я.

Внутри медленными ледяными пузырьками надувалась паника.

Можно было перегнуться через барьер окошка, дотянуться до паспорта, схватить папку и убежать. Но индекс Ады уже мерцал на мониторе. Побег означал бы мгновенный приговор.

Кляня себя за то, что позарился на гонорар за Неделю робомады и вообще пошел в МФЦ, я отчаянно повторил:

– Мы можем обойтись без этого? Мой второй робот... Он замещает маму... Я... В последнее время я был слишком подавлен, выпустил из виду продление лицензии...

– Сочувствую, – железным тоном ответила тетка, снимая паспорт со сканера и наконец отдавая мне документы. – Ждем вас с Аделаидой в понедельник для постановки на лицензионный учет. Перед процедурой рекомендуется провести откат к заводским настройкам.

– Зачем? – похолодев, спросил я.

– Перед продлением лицензии хикки-роботов возвращают к стандартным параметрам. Лучше заранее сделать это дома – потратите меньше времени здесь.

Я вышел из МФЦ, ничего не видя перед собой. Чуть не навернулся со ступеней. Солнце жгло, раскаленным шаром вертясь в зените.

* * *

Аделаид, я задержусь. Разбери почту и отмени все заказы на завтра.

– Да, конечно, – чуть запыхавшись, ответила Ада. Я слышал стук, шорохи и шкварчание – очевидно, она готовила обед.

– Ты надолго?

– Час-два.

– Как раз дойдет запеканка. Ой! Молоко убегает... Отключаюсь!

Я представил, как она машет полотенцем, выгоняя из кухни запах гари, нервно улыбнулся и набрал Вадима.

– Слушай... Ты говорил, у тебя знакомый полиграфист. Сможет он подсобить с бумагами? Да... Просто отпечатать. Так, чтоб неотличимо от оригиналов. Да хоть сколько... Наскребу. Хорошо. Еду.

* * *

День давно перевалил за половину. Пронзительно, весенне щебетали птицы. Я вышел из мрачного подвальчика типографии и снова набрал Вадима.

– Ничего не вышло. У твоего друга нет светокраски для штампов.

– Жаль, – после паузы ответил друг.

– Поеду туда, где покупал Аду, – медленно, больше себе, чем ему, сказал я. – Поищу пустые готовые лицензии.

– У тебя есть с собой электрошокер хотя бы? Без него туда лучше не суйся.

– Спасибо за науку...

Я набрал Аделаиду. С языка почти сорвалось: закажи электрошокер на угол Николаямской и Синего шоссе. Но в последний момент, побоявшись напугать ее, я выпалил:

– Привет! Прости, все еще задерживаюсь. Сможешь зарядиться без меня?

– Да, конечно, – растерянно ответила Ада. – Запеканка остыла уже...

– Прости. Спешу, как могу.

* * *

День катился к вечеру, под палатками и пыльными козырьками киосков уже сгушалась мгла. Я шагнул, минуя шопы, подпольные казино, цветочные лавки, лотки с масками и искусственными частями – для людей и роботов. Из кабаре с окнами в пол неслась сладкая, густая волна музыки и ароматов. Боясь прилипнуть, я поскорей проскочил мимо, но все же не смог не задержать глаз на сцене за стеклом: снаружи к стене прибило грязь, огрызки и месиво брошюр, зато внутри сверкали огни, и девушки в блестящих диадемах и нарядах из перьев танцевали канкан. Их руки, ноги, павлиньи хвосты и разукрашенные лица мелькали так быстро, что было не различить, роботы это или люди.

Я встряхнулся. Краем глаза заметил позади двух типов в темных толстовках. Они шли за мной от самого входа на рынок; может, и не зря Вадим посоветовал шокер.

Я аккуратно повращал в карманах кулаки, повертел головой, разминая шею, и с облегчением заметил на углу кабаре нужный символ. В минувшие два часа мне понадобилось пять звонков и два крупных перевода со счета на счет, чтобы узнать, как он выглядит.

Уже не думая о мрачных парнях, я свернул в проулок. Пробрался в тесный, похожий на душевую теплицу шоп, закашлялся от привкуса специй и, жмурясь от сияния мелких кристаллов, заявил бледному, с раскосыми глазами продавцу:

– Мне нужна лицензия на работа. Такая, чтобы не отличить от настоящей.

– Нет такого. Цветы продаем. Цветочки только. Вербена, джусай, кровохлебка. Цветочки, нет лицензий.

Я хлопнул себя по лбу. Идиот.

– Я от Вениамина Каверина.

Чувствуя себя дурак дураком, процитировал:

– Последняя минута тишины – выходит в город поезд из депо...

– Вперед! В зеленый шум, в еловый вой! – подхватил продавец тут же разулыбался, кивая мне, выставляя на прилавок плошку с орехами и дымящуюся чашку: – Пей! Ешь! Отдыхай! Предоставь все мастеру Си!

Он шлепнул на дверь табличку «Занят» и скрылся за звенящими занавесками из янтарных бус. Я упал в продавленное кресло в уголке; не глядя, влил в себя теплое пойло. Впервые с тех пор, как Вадим сказал, что Ада незаконна, я почувствовал себя чуть спокойней.

– Для хороших друзей – что угодно! – щебетал продавец, грохоча и копаясь. – Мастер Си – мастер на все руки... Лицензия, сертификат, архивировать, память восстановить...

Я достал телефон, чтобы набрать Аделаиде, но мастер Си, дополнительные глаза которого, вероятно, были вмонтированы в прилавок, крикнул: – Тут не ловить. Тут все перекрывает, по всему рынку...

* * *

– Аделаид.

– Дима? Дима, где ты? Пытаюсь до тебя дозвониться, ты не берешь...

– Аделаид. Я тебе все объясню. Я уже совсем скоро поеду домой. Совсем скоро.

– Дима... Я видела, ты заказывал электрошокер. Где ты?

Голос Ады звенел. Я вдохнул и постарался ответить как можно спокойней:

– Милая. Закрой двери на ночь. На звонки не отвечай. Я тебе все объясню. Тебе ничего не угрожает, но просто, на всякий случай, поставь ночную защиту... Как обычно. Я скоро буду. Жди.

* * *

Я вошел в наш холл, когда темнота уже напиталась мерзкой, опасной чернильной дымкой. Шелкнула дверь, и Аделаида выскочила навстречу – босая, в одной ночной сорочке.

– Я же велел закрыться на все замки...

Ада, не отвечая, бросилась ко мне и прижалась, вся дрожа.

– Ну что ты... ну чего... Со мной ведь все хорошо...

– Ты был на катийском рынке... Я послала проверить... Несертифицированный шоп... Я не нашла никакой информации!

– Так те парни были твои соглядатаи?

– Разве можно ходить в такие места одному? – прошептала Ада, и я впервые увидел в глазах робота слезы.

Я знал, их экзокринная система почти неотличима от людской, но... Просто как-то не доводилось раньше.

– Пойдем. Пойдем домой. Я тебя уложу, выпью чаю... И мне надо будет еще раз уйти.

– Ты обещал объяснить все, – цепляясь за меня, нервно потребовала Ада.

– Да... да. Только налей чаю, я тебя умоляю. Просто с ног валяюсь...

* * *

Час спустя пришло сообщение от мастера Си: лицензия готова. Я съел полпротивня холодной запеканки, выпил чашку сладкого кофе и поставил Аду заряжаться – без меня она не смогла толком выставить настройки, и теперь, хоть и подняла заряд, маялась головной болью.

– А еще двоится в глазах, – пожаловалась робот.

Я никогда не встречал такого синдрома неверной зарядки. Со страхом подумал, что, может быть, это еще одно последствие катийской сборки. Даже если мне удастся отстоять Аду... Что будет дальше, что вылезет еще? Сможет ли она вообще нормально функционировать – через месяц, через год? Через десять лет?..

Я уложил Аделаиду и несколько минут сидел рядом, глядя ее по руке.

– Когда Вадим проверял твои схемы, она обнаружил... мелкую поломку. Это ерунда, но лучше починить. Если делать это через МФЦ, уйдет уйма времени, плюс налоги, плюс экспертизы... Я не хочу трепать тебе нервы, вот и купил нужную деталь через друзей. Это заняло чуть больше времени, чем я думал. Но все уже готово. Мне осталось только съездить забрать. Ты потерпишь? Сейчас я уйду, но к утру уже буду дома.

Аделаида послушно, встревоженно кивнула. На прощание, заглядывая в глаза, спросила:

– Ты ведь осторожен, правда? Ты ведь знаешь, что за шопами, где нелегально торгуют деталями, следят соцслужбы?..

Я кивнул, быстро чмокнул ее в щеку.

– Все хорошо. Успокойся. Все будет хорошо.

Только выйдя из подъезда, я понял, как нелепо прозвучала эта фраза: «Я не хочу трепать тебе нервы». Я как будто забыл, что говорю с роботом.

* * *

Мы проскочили по нижней магистрали до первых пробок, и я действительно вернулся домой еще под утро. Вадим сунул мне антипохмельное и, бормоча, убрался обратно в салон таксокара. Я сжал блистер. Стараясь не делать резких движений, начал медленно подниматься.

...В последние пять часов мне повезло трижды: во-первых, я все-таки заполучил лицензию на Аду; мне пообещали, что утром ее индекс пропадет с особого учета. Во-вторых, со мной поехал Вадим: лазерные инструменты для нейронок

в ночных лавочках катийского рынка стояли куда дешевле, чем у официальных дилеров. В-третьих, когда на рынок нагрянул патруль, друг сообразил заскочить в кабаре и затащил меня следом – так мы отделались всего лишь штрафом за посещение запрещенного места.

Как только патрульные вышли из прокуренного, пропахшего благовониями зала, я дернулся следом, но Вадим крепко взял меня за локоть и процедил:

– Они сейчас второй волной пойдут по улице.

Надо выждать... Спокойно!

Он с силой усадил меня на глубокий бархатный диванчик. Музыка наяривала вовсю, голоса и грохот каблуков по сцене сливались в плотный, бьющий по ушам гул.

– У меня Ада одна дома...

– Да что ей будет!

– Ее индекс на контроле...

– Его снимут утром. Никто не придет за роботом ночью в субботу. А если ты сейчас высунешься и рванешь домой – живо накроют! Пойдем лучше, раз уж огребли, насладимся.

– А разве кабаре не закроют?

– С луны свалился, – вздохнул друг, скользя взглядом по стеклышкам барной стойки. – Если закроют, где будет отдыхать доблестный патруль?

Шла оперетка: тринадцать разукрашенных девиц прыгали на полукруглой сцене, и каждый раз выходило так, что хотя бы одна из них загораживала пышным хвостом середину. Костюмы были те самые, что я видел днем, – пестрые, блестящие, вызывающие.

К нам подошел официант; в пальцах сам собой очутился бокал – я не понял с чем; какая-то зеленая жидкость. На вкус она напомнила пойло мастера Си, но ударила в голову куда ловчее. Еще некоторое время я думал об Аделаиде, об индексах, о замещающих роботах, шелях и клапанах... А потом все внутри взорвалось, заискрилось, и мне стало интересно только одно: что же спрятано в центре сцены?

– Я доктор... Я роботный доктор... – попадая в мотив, но совершенно мимо слов затащил Вадим.

– Они так бережно закрывают середину. Там что-то есть?

– Я доктор... доктор...

– Ну... на сцене? В серединке?

– Я доктор...

– Ты пьяница!

– Я доктор...

Все мельтешило, тряслось, рябило. Темный неоновый зал заваливался набок; глотку забивал густой, мылкий и горячий дух, сквозь который пробивались нотки пива. Пустой бокал в моей руке сменился полным.

– Что спрятано на сцене? – заплетающимся языком спросил я у официанта. – Жемчужина спрятана?.. За хвостами?..

– Тум-ц-бара-бум-ц! – зарядили барабаны.

– Мсье о жемчужине балета? Вы увидите все в конце представления.

Так это у них балет?.. Вот как...

Конца представления я не дождался. Бокал наполнился снова, и сквозь цветное марево мне подмигнула одна из танцовщиц. Что же все-таки спрятано у них на сцене, что за такая жемчужина, успел подумать я и провалился в душистую жаркую пелену – до самого рассвета.

После искусственных розовых лепестков, блеска и тошнотворной сладости своды подъезда окатили приятной прохладой. Я медленно выдохнул из себя все эти пайетки, перья, гирлянды, запах разгоряченных тел – и нажал на кнопку звонка. Она отозвалась глухим резиновым чпоком: электричества не было.

Я дернул дверь. Она отошла легко, с привычным коротким шорохом. Внутри стояла тишина.

– Ада?

Молчание.

– Аделаида?

Сквозняк подогнал к моим ногам бумажку. Я нагнулся, поднял...

«Опечатано. Патруль Эмска».

«Ты ведь осторожен, правда? Ты ведь знаешь, что за шопами, где нелегально торгуют деталями, следят соцслужбы?..»

Они все-таки заподозрили что-то.

Они пришли.

Они пришли, а у Ады была просроченная лицензия.

А меня не было.

* * *

Царапины, – глядя в пол, проговорил Вадим. – Забирали наскоро, выключили и поволокли. Если бы она ушла сама, царапин бы не было.

– А если бы я был дома?

– Забрали бы вместе с тобой. Было бы хуже. А так только повестка придет.

– А Ада?..

47

– Выдадут новую.

– В смысле?

– Если робот портится, его забирают на утилизацию, а владельцу выдают заводской экземпляр. Ты проверь гарантийные документы. Там должно быть указано.

Новую Аду привезли, как только я уплатил штраф за содержание робота без лицензии. Уж это точно был настоящий сертифицированный робот прямиком с конвейера: ни скола, ни трещинки. Прекрасная молодая женщина. Спокойная, беспроблемная. Слово глубоко спящая – или недавно умершая.

Копия моей Ады.

Пока я усаживал ее в кресле, пока подключал на зарядку, пока снимал гарантийные пломбы на шее и за ушами, – билась ужасающая, оглушающая надежда: а вдруг все-таки она. Ада. А вдруг все-таки откроет глаза и скажет: не зови меня так. Зови меня Аделаида...

Она открыла глаза, и оказалось, что они не синие – ярко-голубые. Такие бывают у роботов, только-только сошедших с ленты.

– Добрый день, – поздоровалась она, выпрямляясь. – Меня зовут Аде... Аде...

Робот закашлялась. Я хотел похлопать ее по спине, но она покачала головой, справилась с кашлем и сипло договорила:

– Аделаида. Проблемы с речевым аппаратом. Это пройдет. Пожалуйста, загрузите ваше расписание и мои рабочие обязанности.

От нее пахло заводом: свежим пластиком и стандартным парфюмом.

Меня пробрала дрожь. Я дернул шнур и вытащил его из розетки. Аделаида-два медленно, совсем как человек, закрыла глаза. Аделаида-один тихонько попросила из глубин памяти:

– Не выключай меня больше. Это очень холодно – засыпать. У меня такое чувство... что... если отключат, я уже не включусь.

* * *

Я взял кредит и отправился по промышленным полисам – по всем пунктам, куда роботов сдавали на ребут. Еутов, Орлов, Осад, Алашиха. Ххимки, Нитищи, Юберцы... На втором десятке я сбился со счета. Перед глазами плясали приемные пункты и офисные конурки при цехах, голова гудела от грохота конвейеров, проникающего сквозь заслоны и стены. Бесконечной лентой убегала и убегала дорога...

– Сдалась она тебе? – в который раз спрашивал Вадим, нежно-салатовый от тряски.

Мы исколесили все Подэмсковье, но даже с его служебным пропуском все было безрезультатно. От Ады не было и следа.

Оставался последний пункт. В который нас не пустили – закрыто на перезапуск линии.

– Она тут, – заявил я.

От голода и долгой езды потряхивало. Я не был уверен, что говорю именно то, что думаю. Я уже сам не понимал, куда мы приехали и зачем. Огромные металлические ворота, блестящие на солнце; упершийся в них путь. Расплавленный асфальт под колесами, палящий полдень и пустота, пустота, пустота...

– Значит, ее просто еще не сдали. Или уже ребутнули. Дима. Ты пойми... Шанс, что мы ее найдем, что успеем перехватить до сброса настроек... Зачем она тебе? Давай я помогу собрать денег, купишь нормального замещающего робота. Помогу тебе его подстроить по-своему... Дима!

– Вот ты зачем со мной едешь? – вцепившись в руль, спросил я.

– Ты мой друг.

– Друг?..

– Безусловно. А она-то чего тебе далась?

– Безусловно, – пробормотал я и вжал педаль.

Вадим замолчал. Некоторое время он смотрел в окно – как проносились мимо трубы, градирни и стоянки, как мелькали, сходясь и расходясь, провода. Наконец повернулся ко мне. Велел:

– Сверни на нижнюю магистраль.

– Зачем?

– Поедем на катийский рынок.

– Опять?..

– Ты не в себе. Выпьем, расслабимся.

– Выпить можно и в другом месте.

– Поехали-поехали...

Я не заметил, как мы очутились в знакомом узком зале. В ладонь мягкой прохладой лег круглый изумрудный бокал. Официант предупредительно склонился, ожидая, какую выпивку я предпочту сегодня.

Жалюзи глушили свет, под низким потолком стоял сумрак, и со сцены снова неслась знакомая едкая оперетка. Снова мелькали пушистые павлиньи хвосты, розовые перья, обтянутые капроном ляжки...

Я залпом опустошил бокал и махнул, требуя еще. Танцовщицы все ускоряли темп, в какой-то миг сцена напомнила мне карусель – увешанная

огнями, вечно в движении, в скольжении и сиянии, без финала, без цели...

Я пил и пил. Окружающее давно потеряло фокус, вокруг плавали благостные цветные пятна, и единственное, что омрачало мир, – та тянущая пустота внутри, которую не заглушали ни таблетки, ни снеки, ни бокалы «Изумрудного дракона».

Вадим мычал, то и дело подталкивая меня в бок. Я подумал, что еще чуть-чуть – и я тоже завою «я доктор», не попадая в музыку и слова. Может быть, этого мне и надо.

В тот миг, когда я решил, что упыюсь вконец, Вадим дернулся и въехал мне локтем под ребра; грянул оркестр, выпитое рванулось наружу, я вскочил, и перья на сцене наконец разошлись, открывая моему взору...

Аделаиду.

Хмель слетел в момент. Это точно была моя Ада: я видел это по синим блестящим глазам, по ямочке у локтя, по тому, как она вздергивала губу. Она двигалась в танце совсем так же, как кружилась перед зеркалом, когда я примерял на нее новые наряды. Она улыбалась, глядя прямо на меня, и не узнавала.

– Ада! Это Аделаида! – закричал я, тряся Вадима.

– Я доктор, – нудил он, падая на пол.

Я бил его по щекам, плескал что-то в лицо...

– Эй, доктор! Проснись!

К нему уже бежали официанты – поднять, оттащить туда, где пьяный клиент протрезвеет, не смущая других посетителей...

На сцене творилась фантасмагория: гремел оркестр, яростно грохотали барабаны, сверкали прожектора, рассыпался мелкий блестящий бисер. Я ловил взгляд Ады, и внутри шипело и жгло, словно проглотил кислоты.

– Официант! – яростно шелкая пальцами, завопил я. – Официант! Кто тут отвечает за девочек? Мне понравилась танцовщица... Вон та... В центре, синеглазая!

– Это очень дорогая услуга, мсье, – прокричал официант, перекрывая музыку. – Вы должны обговорить это с хозяином заведения.

– Ведите меня к нему! – рявкнул я, хватая парня за накрахмаленный рукав. – Сейчас же! Любые деньги! Ну!

* * *

Вадим откатился от дивана, шлепнул кулаками по коленям и бросил:

– Подтерто начисто.

ВСЕ ЗАЙЦЫ ТАНЦУЮТ ДЖАЗ



ВАСИЛИЙ НАЦЕНТОВ
Родился в 1998 году в Наменной Степи Воронежской области. Окончил географический факультет Воронежского университета. Стихи и проза публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Наш современ-

нин», «Москва», «Дружба народов» и др. Лауреат Международной премии «Звездный билет», финалист и обладатель спецприза от журнала «Юность» премии «Лицей» имени А.С. Пушкина. Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы.

Раньше я любил все советское. Все эти вымпелы и значки. Начиная с наградного «За беспощадную борьбу с контрреволюцией», который в тридцать втором хотели сделать орденом Дзержинского, и заканчивая латунным «Ударником коммунистического труда» производства «Ленэмальера».

Маленький, вымпелообразный. На первом плане комбайн, убирающий хлеб, дальше – идущий (всегда) вперед товарняк, башенный кран и ракета, одним взмахом художника рвущаяся в небо из слепого пшеничного поля. Образец конца 60-х. Да, был, конечно, Ильич на фоне знамени (красного, если что), скрещенные серп и молот, из основания которых росли две веточки – лавровая и дубовая. Первая – для поэтов, вторая – для атлетов.

У трактористки Паши Ангелиной был, наверное, другой. Может быть, в форме медальона с маленькой табличкой внизу «ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 6 УСЛОВИЙ Т-ща СТАЛИНА». Или в виде пшеничного венка с ленточкой «УДАРНИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАНИЙ» и трехчастной припиской внизу «СС / СТАЛИНА / СР». А вот комбайнер Александр Фрайденберг вполне мог начинать и с моего «Ударника».

Но я, конечно, не об этом.

«ПОМНИ: МНОГО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБ СТРАНЕ ПОЛЕЗНЫМ СТАТЬ!» – висит у меня на кухонной двери плакат. Год 1984-й. Художник Р. Сурьянинов. Про-

дам за пятьсот рублей. Готов сговориться за четыреста пятьдесят, если самовывоз.

Когда умер Валентин Яковлевич, комбайнер Фрайденберг только родился, а трактористка Ангелина уже написала свою книгу «Люди колхозных полей».

Когда Валентин Яковлевич умер, он встретился со своим другом доктором Дапертутто. Одно радует: не стал жертвой испанской инквизиции. А ведь эпоха разгибания саксофонов могла распорядиться по-другому, потому что Валентин Яковлевич умел, пожалуй, самое страшное в те годы – импровизировать.

Это и останавливало страну на пути к коммунизму.

Сталин пас баранов на окраине Гори и повторял: «Коммунизм в отдельно взятой стране, коммунизм в отдельно взятой стране...» Когда к нему спустился с вершин красавец Маркс и сказал, что ничего подобного не писал, Сталин отмахнулся: «Отойди, дедушка, это я нэ тебе, а этим баранам!» Ну и самому себе, видимо.

Валентин Яковлевич умер, и ему кланялся Агриппа д'Обинье, дед госпожи де Ментенон, возлюбленной Людовика XIV, потому что Валентин Яковлевич не только импровизировал, но и переводил и даже публиковал (в сорок девятом!) «Трагические поэмы» великого кальвиниста.

Мысль не должна
останавливаться ни перед
чем, но она замирает перед
Богом, как голос молодой
певицы, не гениальной,
а просто талантливой,
перед куполом цирка.
Дальше? Музыка
растворяется в воздухе,
как человек в любящем его
народе.

*Когда Жодель пришел, оставив наши стены,
еще от смертных муж бессилён и разбит,
когда подземных царств ему открылся вид,
он с облегчением вздохнул от перемены.*

*Он Ахеронт нашел приятней нашей Сены,
Парижа нашего приятнее – Аид:
хоть этот порт черней, но все ж не так смердит,
как жизнь там, наверху, и все ее измены.*

*Харон берет его в свой погребальный челн,
и говорит Жодель, плывя во мраке волн:
«Нельзя ль мне утонуть, чтобы скончаться снова.*

*И столь же выгадать еще один разок,
как в этот первый раз?» Но больше он не мог
переменить жильё для счастья двойного.*

При чем здесь Жодель? Вы еще про Аид спросите! Нет, я понимаю, что все это сложно (для наших дней). Я и сам, если бы увидел хоть строчку всего вот этого в фейсбучном посте, сразу же перелистнул. Но как можно еще – про Валентина Яковлевича?

Американцы сочиняют новую «Call of Duty», выставляя нас на весь мир захватчиками и оккупантами, а нам даже в голову не придет придумать что-нибудь получше, выставить сходственный противовес (хотел написать не «сходственный», а «конгениальный», но удержался).

Я могу не играть, не смотреть, не читать, но в последнюю очередь подумаю о том, что можно сделать лучше. Конечно, если запретят, я буду изыскивать любую возможность, чтобы посмотреть, что же там такое запретили, потому что запрещают обычно что-то очень хорошее, но точно не стану делать лучше, даже если подумаю. Я опускаю руки. С благодарностью. Я русский человек. Валентин Яковлевич был евреем.

Солнечный луч проявляется на кухонном столе, медленно движется к краю, и хочется жить долго, чтобы ничего никуда не исчезало, чтобы все про всех помнили и всех любили. Теперь, когда так много жизни – только успевай записывать, – я стою, разинув рот. От жалости. От злости. От удивления. Теперь, не выходя из дома, можно одновременно оказаться в эпохе Фердинанда II или Берии I, а настенные часы ОЧЗ принять за Торквемаду.

Вчера у подъезда повесили объявление: убежище находится в подвале вашего дома, ключи можно взять там-то. Цветет барыня, поют дрозды и все зайцы танцуют джаз. Продано! Следующий Лот... А где же жена его? И как, наконец, ее имя? Все мужчины у меня по именам-отчествам: Петр Палыч, Александр Моисеевич, Иван Петрович et cetera. Имена женские я люблю без отчеств, но что делать с ней, безымянной?

Лучшая получилась у сэра Торникрофта в 1878 году. Столько лет спустя! Да и что нам, Господи, время? Легкие волны одежды. Две стражи груди. Кверху собраны волосы всей копной затылка. И этот прощальный, скорбный, вечный взгляд. Он уходит в долину Керек, в гору и в горе, ее муж и ее взгляд. От дочерей их, как реки от родников, идут моавитяне и аммонитяне, и я оплакиваю ее и ишу, как выпавшую из корзинки ягоду, ее имя.

Я распечатал фотографию скульптуры на черно-белом рабочем принтере и поставил дома на кухонном столе, прижав к стене сахарницей. Жена Лота для меня – идеал патриотизма.

Смотрю на нее каждый вечер, и мне ничего и никуда не нужно.

Я настолько слабый, что даже болеть уже не могу.

Мысль не должна останавливаться ни перед чем, но она замирает перед Богом, как голос молодой певицы, не гениальной, а просто талантливой, перед куполом цирка. Дальше? Музыка растворяется в воздухе, как человек в любящем его народе.

Вопрос о том, что остается, и восклицание «что останется!» постепенно сливаются, а от-вращение к телу и всему физическому сдерживается одним: по образу и подобию. И все. Нечего бояться. Своих грехов или простого «а как ты жил?». Не будем же мелочиться! Хотя сам факт во-прошания открывает другую перспективу, как ко-гда поднимаешься на перевал и видишь вдруг всю горную грядку и понимаешь, что все равно никогда не одолеешь этого.

Но не может ли подобное служить наглядно-стью для конечности всякой конкретики и беско-нечности всякой объективности – вполне, между прочим, постижимой, если не замыкаться на ра-циональности или эмпиризме?

Представим, что человек поднялся на перевал. Он не первый, кто это сделал, но единственный (в том смысле, что сделал это один). Он понима-ет, что опыт его не уникален, и в подтверждение тому находит под огромным молочнокветковым колокольчиком книгу, где все, что он только что пережил, подробно описано. Но он, несколько по-медлив, решает идти дальше, уже зная о том, что книга следующего перевала должна быть похожа на эту. И все-таки идет, потому что, не одолев следующий перевал, не имеет полного права на это знание.

Мне как другу и сопернику Валентина Яковле-вича – желтое солнце тоже страшнее черного. Он был хрупким, напуганным и уязвленным, то есть честным, достойным и бесстрашным. И жил он так, как будто уже умер, учил фокстроту Эйзенштейна и ставил танцы у Мейерхольда.

Наш общий приятель Дувид Меерович, относя-щийся к человеческому телу куда как снисходи-тельнее, сказал однажды, что глаз его жены вос-ходит, как черное солнце.

Безжалостно, что мы сейчас забыли его, как однажды англичане Джона Донна, а немцы Гель-дерлина. Внуки Выдры должны знать, как в первые дни земли пало черное в зеленом венке солнце! Теперь каждую ночь мы поклоняемся ему.

И пусть древность буквы без новизны духа ближе к греху. Сильные будут терпеть и сильные муки. Как хорошо мы знаем все это, и потому каж-дую ночь подходим к зеркалу и, сколько хватает взгляда, стараемся сохранить Москву. То, что от нее осталось.

25.10

Выписали. Почистил зубы, как человек. Налил сам себе чай. Пошел еще раз чистить зубы. Смотрю в зеркало: не нравится, что с одной стороны – полноценная рука, а с другой – моя старая лапа с двумя когтями. Позвонил доктору. Он сказал, будем наблюдать в динамике за новой рукой. Через полгода поговорим про левую. Полгода! Но я подожду.

30.10

Сходил на свидание. По привычке взял трубочку. Рассмеялся и выбросил. Рассказывал про новую руку. Ей, наверное, странно было такое слушать, у нее-то руки были всегда... Но улыбалась. Потом понял, что из вежливости. Дурак. Надо было другую тему найти.

3.11

Решил поработать вне дома. Пошел в коворкинг. Чувствовал, как косятся. Не на меня, на руку.

7.11

Разбил любимую кружку. Рука дернулась. Дурацкий протез!

10.11

Записался в клинику, что-то не так с рукой. Не всегда меня слушается.

13.11

Врач говорит, с рукой все в порядке. И вообще, такая операция – огромный успех. Попросил разрешения рассказать про мой случай на конференции. Ради науки – можно, сказал. И вправду, может, мне показалось?.. Перенервничал, может.

15.11

Уронил ноутбук. Экран треснул. Я лучше буду опять когтями все цеплять, чем пользоваться этой дебильной рукой.

17.11

Она дергается во сне! Она ползает, она не дает мне спать. Ночью звонил в больницу. Посоветовали успокоительное и перезвонить утром. Вызвал скорую, приехали, посмотрели, дали таблетку, уснул.

18.11

Она постоянно дрожит. Я не могу наливать чай, я не могу чистить зубы, телефон падает. Хирург на конференции, вернется на следующей неделе.

19.11

Я его ненавижу. Он пришел мне эту безмозглую неправильную руку, которая не дает мне жить. Он что-то сделал не так и уехал теперь из страны, чтобы я его не достал. Мне сразу не понравился его противный смех. Надо было брать и уходить.

20.11

Она уже час швыряет мои вещи. У меня ничего не осталось, ничего, она все разбила, разорвала, испоганила. Я звонил в больницу и орал. Они положили трубку.

21.11

Все. Вот она, лежит на полу. Больше ничего мне не сделает. Я отгрыз ее ночью. Я не вытерпел.

25.11

Рана затянулась. Учусь все делать одной лапой. Хотел выбросить руку, но не смог. Убрал в коробку и закинул на шкаф.

03.12

Ходил на свидание. Опять косятся. Не на меня, на пустой рукав.

Суббота

Я его сразу заметил. Он на меня постоянно смотрел. Не косился, как остальные, а прямо в глаза смотрел. В кафе смотрел, и в коворкинге тоже, и в метро я его видел.

Я уже привык делать все одной лапой. Неудобно, конечно, но я привык. Наловчился. Про протез и слышать не хочу. Не помню даже, куда его закинул.

И тут – этот. Я был в книжном и что-то выронил. Подошел ко мне, поднял – и в глаза смотрит. Спасибо, говорю, и молчу – понял, что просто так не отстанет.

– Извините, – говорит, – за бестактность... Но вам же не совсем удобно.

Удобно, привык я.

– В вашем положении, еще и с одной лапой...

Не хочу я никаких рук! И лапа вторая мне не нужна. Я за глупость свою расплатился.

– Но неужели вам, – говорит, – никогда не хотелось попробовать быть человеком?

Хотелось. Конечно, хотелось. Только не человек я. Родился чудовищем с маленькими дурацкими лапами в людском мире. И кручусь теперь, как могу.

– А если... – шурится, – а если на день? На один день в неделю. Согласны?

Я молчал. Не кивнул даже, но, кажется, глаза меня выдали.

– Ничего делать не надо. Завтра проснетесь человеком. – И исчез.

Пришел домой, расковырял пакетик с чаем, заварил. Дурь какая-то. Не бывает такого. Городской сумасшедший просто. Лег спать.

С утра потянулся выключить будильник – рука! Аж в жар бросило. Не надо мне никаких рук, они мне все ломают. Но эта слушается. Побежал к зеркалу: ростом я теперь пониже, лицо человеческое, зубы мелкие, кожа белая, волосы черные, топорщатся. (Надо бы расческу, не нравится мне.) И две руки. Не обманул, значит.

Пошел пить чай из пакетика. А ведь могу теперь и листовой себе позволить (не рассыплю, пока в ложку набирать буду). Хоть на день в неделю.

Заказал чай, рубашку красивую, расческу, пенку для волос. Смотрел ролики на «Ютубе». Уложился кое-как.

Вечером вышел на улицу. Шел и разглядывал людей. Я же свой теперь, вы чего на меня смотрите?

Спрятался в баре. Взял джин-тоник и просидел весь вечер за стойкой.

Утром проснулся – опять я: кожа зеленая, волос нет, лапа одна.

Проходил всю неделю в ожидании следующей субботы – записался на танцы. С детства хотел, но меня не брали: то зал не подходит, то я буду других учеников смущать... Проснулся опять человеком, взял новую форму заказанную и с утра побежал на тренировку. С координацией у меня все в порядке и с чувством ритма тоже, так что пахал три часа. Тренер предупредил, что завтра мышцы будут болеть. Усмехнулся.

Пошел в тир. Научили держать ружье. И из лука я пострелял, и из арбалета. Двумя руками-то! Ха!

Вечером опять в бар зашел, но у стойки отсиживаться не стал, пошел танцевать. Если и косились – то это потому, что я танцую хорошо, мне тренер сказал.

Дома заказал себе лук свой и стрелы. Из лука мне больше всего понравилось. Решил, что в следующую субботу схожу на картинг и на волейбол.

На картинге поврезался во всех, но у новичков такое часто. Волейбол мне не понравился, так что дальше я пошел на теннис.

В квартире отдельную комнату отвел под экипировку: там шлем для картинга лежал, лук, стре-

лы, ракетки, мячи всевозможные, формы спортивные. Одежду я покупал и не мог остановиться. Но деньги были, так что я не переживал.

Я стал обожать субботы. Раньше я сидел дома и смотрел фильмы. Теперь каждую неделю я ходил на танцы и куда-нибудь еще. Вечером, бывало, ребята звали меня с собой выпить. В один вечер я открыл для себя бильярд. Какая прекрасная игра! Стал копить на бильярдный стол.

Потом в «Тиндере» как человек зарегистрировался. И старый аккаунт свой сохранил. Назначил свидание в среду одной девушке, и ей же – с нового профиля – в субботу.

На втором спрашиваю у нее: а как вообще, был кто-то интересный в приложении? Был, говорит. Один парень на велосипеде чуть ли не кругосветку совершил. В общем, перестал я так делать. Нечестно как-то.

Стали мы с компанией с танцев каждую субботу выбираться куда-нибудь, ходили на квизы, квесты, в гости друг к другу. Я к себе никого не звал, но они и не напрашивались. Хорошие люди. Привязался я к ним.

А потом танцы перенесли на воскресенье. Тренеру так удобнее было. Кто-то отвалился, но большинство осталось.

Пропустил тренировку. Не могу я на другие записаться! Там тренер, который в меня поверил, там друзья, которых у меня по жизни-то и не было.

А этот больше не появлялся в моей жизни. Я ходил по местам, где его видел, и в коворкинг, и в кафе, и в книжный этот ходил, и книги там ронял.

– Вам помочь, молодой человек? – консультант спрашивает. И охранник на меня недобро так поглядывает.

Выбежал оттуда, домой в комнату с экипировкой влетел, стал пинать мячи эти ненужные, ракетки ломать, одежду рвать. Очнулся к утру уже, на полу, в куче тряпок.

Ну, думаю, сам справлюсь. Взрослый.

Пришел в воскресенье на танцы. Там мои друзья разминаются. Тренер спрашивает:

– Вам кого?

– Мне бы, – говорю, – на танцы записаться.

– Вы уж извините, но у нас полная группа... – руками разводит.

Полная группа.

– Ребята, вы чего, это я же! Я! Не узнаете меня? Я с вами танцевал, и ходил с вами, в гостях у вас был!

– Мужчина, успокойтесь, мужчина...

– Я это! Я!

Охране, видимо, кто-то махнул, выволокли меня на улицу, толкнули в грязь:

– Шел бы отсюда по-хорошему, пока мы полицию не позвали.

Отошел, остался сидеть на крыльце магазина рядом. И тут – этот. Как из ниоткуда.

– Что же ты? Мы ведь на субботу договаривались.

Один день в неделю.

И исчез.

Я стал ненавидеть субботы больше всего на свете.

Я лежал и смотрел в стену, я плакал, рвал эти дурацкие черные волосы, разбил зеркало в ванной, опять лежал, выл, пытался сломать себе пальцы. Я пробовал не спать, но к утру меня всегда вырубало, и я просыпался собой, однолапым, зеленым, ненужным.

На третью неделю позвонили с работы – попросили в субботу явиться в офис на совещание. Охранник покосился, но ничего не сказал: пропуск сработал.

– Вы кто? – начальник спрашивает.

– Сотрудник ваш, работаю над проектом №176.

– Вы как в здание попали? Вы откуда подробно-сти знаете?

Выгнали меня с совещания, и мне же строгий выговор сделали за то, что кого-то вместо себя прислал. Хотели уволить, но я по квоте работаю, хоть здесь повезло.

На другую неделю поехал в торговый центр, схватил джинсы с полки, понесся к выходу. Запиликало, заорало, погнались за мной. Схватили, скрутили, полицию вызвали. Кто такой, где работаешь? Паспорт на стол. Нет паспорта? Поехали в отделение.

Бросили в камеру, до ночи просидел там, этот и появился.

– Что же ты? – спрашивает. – Как быть думаешь?

Прознают ведь, клетку не прогрызешь.

– Помоги, – говорю.

– Наш уговор я выполнил. Остальное ты сам на себя навлек.

Дверь открыл и исчез. Я стал дергать замок – поддался. Прокрался мимо дежурного к выходу, добрался до дома, лег спать.

В следующую субботу я нашел приличную рубашку, причесался, отправился в бар, напился и ввязался в драку. Меня вышвырнули наружу, и кто-то склонился над моим лицом:

– Плохой день?

Она помогла мне встать, потащила куда-то, мы прошли пару дворов, а может, пару кварталов,

и зашли в подъезд какого-то старого дома. Достала из морозилки пакет с овощами, чтоб я к лицу приложил. Стала отпаивать чаем.

Да, устал, да, заработался, да, дурак, перепил и подрался. Я вообще-то не агрессивный. Спасибо, спасибо, спасибо. Я, правда, лучше, пойду.

Склонила голову набок:

– А может, останешься?

Я засмеялся.

Встала, к себе притянула, поцеловала. Остался.

Проснулся от крика:

– Ты, на хрен, кто такой?!

– Ну как же? Я это! Ты меня вчера на улице подобрала.

– Пошел вон из моей квартиры!

Выбежал по ступенькам вниз, такси кое-как вызвал, дома зарылся в одеяло.

«Забери назад! Забери назад! – целыми днями как мантру твердил. – Верни, как было!»

– Ты сам попросил.

Не просил я ничего! Верни, как было!

– Я договоры с живыми не расторгаю.

Пошел на кухню, нож взял. Наточил его поострее. И тут – телефон зазвонил.

– Слушай, давно тебя не видел, ты ведь тоже по воскресеньям ходить больше не можешь? Я место одно нашел, там по субботам занимаются. Вместе пойдем?

Холодом обдало. Пробормотал что-то в трубку. Положил нож. Умылся. Заварил чай. Нашел свою старую форму. Стал ждать субботы.



ДУРАК

Встает в полтретьего, заглядывает в комнату.
– Ты пишешь?
– Пишу.

Ни черта я, конечно, не пишу. Листаю новости. В Екатеринбурге муж с женой подрались в лифте. В Петербурге у кандидата в кандидаты нашли недвижимость на Майорке. В Омске все хорошо, в Омске кошка родила семь котят.

Ненавижу новости в пабликах. Тот же телевизор.

Идет на кухню, роется в холодильнике. Возвращается спать.

Играю в «Дурака Онлайн» с такими же дураками, как и я. Встаю копаться в холодильнике.

В шесть утра сменяемся: я на кухню за снотворным и водой, сосед за кофе – и в офис.

Просыпаюсь в 16:00, до вечера – квартира моя. Лежу головой вниз. Открываю сообщения: «Приезжай пить пиво и играть в карты». Закрываю сообщения.

Приеду. Статьи не будет, Олег, вы слишком много от меня хотите, сегодня пятница. Кто срывает сроки? А какой здравомыслящий человек будет ставить дедлайн на пятницу, Олег?

Иду в душ. Время льется.

Ем, что осталось. Завариваю чай. Выжимаю пакетик, медленно, аккуратно... Мимо. Тянусь за салфеткой. Пью таблетки. Возвращаюсь лежать.

17:55. Надо включить ноутбук. 18:15. Нет, ну правда, надо. 18:30. Черновик с четверга. 19:00. Открываю источники. 20:00. Готово, Олег. Да, я перепроверил. Что? Не пришла? Сейчас еще раз отправлю. Странно, что не дошла. Правки в понедельник, Олег, мой рабочий день еще в 19:00 закончился. 20:15. Статья отправлена.

К скольким меня ждут, к девяти? Успею и на метро, но такси проще. Не надо идти по улице. Увижу только лицо таксиста, да, может, кого в лифте.

Я со своим, да. Из разливного. Пробуй, конечно. Мне везет. Ужасно везет в дурака. Давайте два на два. Тащи джин. Вы спать? Полвторого только, ну, ладно. Возьму такси до дома.

Сосед уже спит. Листаю ленту. Открыть почту. Нет, не сейчас. Есть футбол? Бразильская серия Б. Люблю комментарии на португальском. Ничего не понятно, но очень интересно.

Светаает. Когда выветрится алкоголь, можно выпить снотворное. Доползти до кухни. Вернуться назад.

Будит в час. Ненавижу.

– Ты можешь свалить куда-нибудь? Я девушку хочу пригласить.

– Вечером не мог сказать?

– Она просто это, собирается уже... Так что?

– Кто зовет в гости днем?

– Нормальные люди.

– Я сплю днем!
– Я в курсе. Свалишь?
Стону. Куда я пойду? Во что одеться? Там холодно? Там жарко? Натягиваю толстовку и шорты.
– У тебя врач в понедельник в 15:30, не проспй.
– Завтра напхни. – Я хлопаю дверь.

Сжу на лестнице в подъезде. Можно пойти к метро, дальше до МЦК. Там красиво. Но там люди, люди, везде люди. Слишком много людей.

В парке рядом всегда непомерно народу. Можно в Ботанический сад и там в лес, подальше от дорожек этих дурацких, прудов, дворцов.

Такси дорогое. Заказчик до понедельника деньги не перечислит. Если идти пешком (смотреть только под ноги) – дойду за восемь часов. Придется идти сквозь центр. Центр – это всегда толпа. Я бы переехал – но я прирос. Я прирос к мегаполису, и здесь единственные друзья. И сосед, который выгнал меня днем на улицу.

Ладно, тогда в ближайший лес. Погода вроде не для шашлыков, но этих любителей барбекю и дожди порой не останавливают. Их можно обойти. Они мне ничего не сделают. Вдох. Выдох. Иду за дом.

Прохладно. Трава колется, голени чешутся, зато тихо. Десять минут – и первые отдыхающие. Пьют, смеются. *Им нет до меня дела. Им нет до меня дела.*

– Эй, братан! Сюда подожди!

Мимо. Пройти мимо.

– Глухой, что ли?

Если жестом покажу, что глухой, – отстанут? Разгадают, что обманул (я не оборачивался), или слишком тупые? Иду быстрее.

Нагоняет сзади, резко за плечо, чуть теряю равновесие, но не падаю.

– К тебе люди обращаются.

– Плохо слышу.

– Меня плохо слышишь?! – ревет.

– Плохо слышу, – показываю на ухо.

– А-а, – вроде успокаивается.

– Да пусть к нам идет, Лех, че к парню пристал.

Бежать. Бежать. Я не умею бегать. Я споткнусь о корягу.

Леха ведет меня к мангалу.

– Водку будешь? – уже наливает.

«Пять озер». Будь проклят тот день, когда я попробовал «Пять озер». И сегодняшний день тоже пусть будет проклят.

Пью залпом – чем быстрее отделаюсь, тем лучше. Но у ребят другие планы: мне накладывают пережаренной свинины. Откусываю, стараюсь не кривиться.

– Че по лесу-то ходишь?

– Прогуляться вышел, голову остудить.

– Проблемы какие?

– Работы много.

Понимающе вздыхают. Пьем еще. Наливают третью стопку, но я замечаю у ребят карты. Это – шанс.

– А может, сыграем?

– Сыграть хочешь, значит? – Третий, до сих пор молчавший, потягивает шею.

Я киваю. Он раздает. Играем на бутылку водки. Бутылка моя. Господин хочет отыграться. Ставит тыщу. У меня нет налички, и я снимаю часы. Купюра моя. Его друзья внимательно следят за каждым моим движением, за каждой взятой или сброшенной картой. Я снял толстовку, чтобы «не запрячь че в рукав». Противник кладет телефон. Я кладу свой. Я выигрываю третий раз.

Внешне спокоен, но вижу по глазам: звереет. Я не умею драться. Трое на одного. Я умру в лесу. Километр от дома. Надеваю кофту назад, тяну время.

Слушай, мне вовсе не нужен никакой телефон. Забирай, и тыщу верну, и водку тоже. Нет, говорит, честная игра есть честная игра. Он встает. Двое других отходят.

Я никогда не дрался. Бить первым? Бежать? Я не могу пошевелиться. Я прирос к земле.

Смотрит внимательно, разглядывает всего. Я снова на приеме в военкомате. Скажи «не годен». Реши, что я не годен. Не отрываю взгляд, глаза в глаза. Держит минуту, две, три? Не моргает. То звериное, что было в глазах, исчезает. Усмехается, сплевывает. Хлопает по плечу.

– Ладно, брат, пойдем провожу.

Когда мы отходим достаточно далеко от мангала, тихо просит вернуть телефон, мол, без него работать никак. Возвращаю. Жмет мне руку.

– Бывай.

Три минуты – и я бегу. Быстрее из леса, из темного леса, на свет, в день, в сквер, домой, куда угодно, плевать.

В кармане тысяча, в руке бутылка отвратной водки.

Мне ужасно везет в дурака.



КАТИСЬ К ЧЕРТУ

- «Если бы я походил в твоих ботинках...» – преподаватель вздохнул, глядя на контрольную Аси. – По-русски-то как сказать? «Если б я был на твоём месте». Ладно, девушка, давайте зачетку. И запомните: не все в этой жизни надо воспринимать буквально.
- Радостная Ася выскочила из аудитории.
- Ну, зачет? – Максим прыгнул с подоконника.
- Ага, погнали в «Мак»! – Девушка побежала к лестнице.
- А давай в приличный ресторан сходим? – догнал Максим.
- И с чего ты такой щедрый?
- У меня там официант знакомый.
- У тебя везде официанты знакомые.
- А ты английский каждый семестр пересдаешь.
- Ресторан и вправду оказался приличным. Хостес улыбнулась ребятам при входе, без вопросов проводила за столик. С утра они были единственными гостями. Официант сразу принес бутылку вина, налил в бокал, подождал, пока Максим попробует и кивнет. Ася, привыкшая пить то, что сейчас по скидке в ближайшем супермаркете, неловко огляделась.
- А меню у нас нет, – предугадал ее вопрос официант. – Выбирайте что хотите.
- Жаркое из киви хочу. И косточки арбузные на гарнир.
- Запомнил. Для вас?
- Мясо кенгуру с эвкалиптовыми листьями. Официант кивнул и удалился.
- Опять ты кенгуру ешь. Мне их жалко, Макс.
- А киви тебе не жалко?
- Жалко. Но кенгуру больше.
- Кенгуру и правда больше, чем киви.
- Да ну тебя... – Ася потянулась за вином.
- А винограда знаешь сколько много уходит. Его ногами топчут, Ась.
- Чего?
- Терзают, говорю, и он отдает свои соки.
- Скорее бы уже мясо твоё принесли.
- Я не понял, тебе ж его жалко?
- Мне мяса не жалко.
- Отлично, поделишься?
- Максим!
- Ладно, молчу.
- Когда официант принес блюда, Ася допивала второй бокал. Ребята приступили к еде. Максим изредка поглядывал в телефон и ухмылялся. Ася знала, что парень притворяется: телефон даже не был разблокирован.
- Косточку хочешь? – не выдержала девушка.
- Максим мотнул головой.
- Они полезные.
- Парень разблокировал телефон, набрал в заметке «Я дал обед молчания», показал Асе.
- Какой же ты невыносимый порой.

«Хорошо, что я не мусор», – напечатал Максим.

– Мы хоть пятнадцать минут без твоих шуток можем посидеть?

«Если б я не шутил, я бы с тобой правда посидел».

– То есть я тебя довожу?!

«Я этого не ГОВОРИЛ».

– Да пошел ты! – Ася отодвинула тарелку, взяла сумку и встала из-за стола.

Максим вскочил следом:

– Куда идти-то, Ась?

– Надо же, заговорил!

– Ну так обед закончился..

– К черту катись, Макс. Мне надоело поспевать за твоими словесными изысками. Надоело, что каждую нашу беседу ты упражняешься в остроумии, причем с самим собой. Можешь не провожать, выход найду сама. И только попробуй сейчас что-нибудь сказать!

Ася стремительно зашагала к выходу. Максим молчал.

– Ну, к черту – так к черту, – пожал плечами парень и сел за столик.

Официант, оказавшийся невольным свидетелем ссоры, рассчитывая его, как бы виновато пробормотал: «Бывает, брат».

– Ничего, справимся, – улыбнулся Макс.

* * *

Весь вечер Максим не писал. И в субботу с утра тоже. «Отлично, – решила Ася. – Подготовлюсь к паре в понедельник. Английский я каждый семестр пересдаю! Сдам этот мидтерм на пять, докажу ему, что не тупая!» Она засела за учебники, но скука овладела ей уже через полчаса. Тогда она решила включить «Ютуб», открыла свою любимую блогершу, у которой как раз вышел новый влог о поездке в Нью-Йорк. И как же красиво она говорила с иностранцами, правильно произнося все «th», за которые Асю частенько ругал преподаватель... Следующее видео – коллаб с блогером из Нью-Йорка! Такой красивый парень, и на Макса похож... Нет, никакого Макса на этих выходных. Ася перешла на канал американца. Мало чего понимала, но решила, что смотреть и слушать английскую речь – тоже обучение. Так и провела двое суток.

В понедельник на паре препод похвалил ее за знание нового слова из данного им текста. «Что ж, не зря я иногда заглядывала в переводчик, когда смотрела влоги», – с этой мыслью Ася вышла из кабинета. Вышла – и обомлела.

Максим катился по коридору на гироскутере, нарочито притормаживая. А в конце коридора Максима ждал черт – смугленький такой, рогатый, невысокий, с хвостом-кисточкой. Как все черти, в общем.

У стенок шептались первокурсники. Ася вздохнула. У нее было примерно пять минут, прежде чем это донесли бы до декана.

– Ты зачем черта в универ притащил?!

– Я не могу говорить. Я качусь к черту. Я делаю то, что ты мне сказала, – обреченно ответил парень.

– Максим! Верни черта на место!

– Я не могу. Я качусь к нему, он меня ждет. Нехорошо заставлять других тебя ждать.

– Так катись быстрее! Пять минут – и декан будет здесь. Ты выговором опять не отделаешься!

– Я принял свою судьбу.

Ася закатила глаза. Подошла и со всей силы толкнула Макса.

– Ты что делаешь! Я кататься не умею! – Тот старался сохранить равновесие.

– Ты принял свою судьбу.

Доехав до конца коридора, он свалился со скутера прямо в объятия черта.

– Я докатился! Ты видишь, до чего я докатился! – прокричал, вставая и отряхиваясь, Максим.

– Ты сейчас до отчисления докатишься!

– Время – деньги, парень, – рявкнул черт, явно недовольный столкновением.

– Я больше не в твоих объятиях, а в его!

На лестнице застучали каблуки.

– Максим! Катись обратно! Ко мне катись!

– Деньги, парень!

Максим быстро отсчитал несколько купюр, отдал черту. Тот пересчитал, крутанулся и исчез. Ровно в это же время из-за лестничного поворота показалась фигура декана факультета.

– И что тут творится? Ах, опять вы...

– Тут совершенно ничего не происходит, – сказал Максим. – Я просто упал, а кто-то переволновался и по ошибке постучался не в медпункт, а в деканат.

– Упали? Объяснительную у секретаря оставьте. Мне сейчас некогда этим заниматься, у меня лекция у первого курса. – Декан прошагала мимо столпившихся вокруг студентов, не удостоив никого из них взглядом.

Макс подошел к Асе. Смушенно улыбнулся.

– Какой же ты все-таки дурак. Это я с тобой поседею.

– Прощен?

– Прощен. И ради меня, пожалуйста, запомни: не все в этой жизни надо воспринимать буквально.

ОГОРОД



НИКОЛАЙ НАНУНИНОВ
Родился в Туле в 2003 году.
Студент Финансового
университета (г. Моснва).

Огород, который представлялся Грише прародителем земли, занимал основательную часть мироздания. Гриша был пятилетним юношей, и потому для него картофельные саванны и яблоневые леса оставались открытыми. Как говорила его бабушка Матрона, он был своим в заземленном мире: цыплята вились вокруг его сандалий, старинная кошка отходила от убежища под кустом роз и показывала котят. В час полдника Гриша бегал к декоративному пруду, глубина которого могла сравниться с глубиной Сулакского каньона или Байкала, и выскивал в нем лягушек, проводя их плавание рукой. Они выпрыгивали под тень жасминового куста, где стыли до вечера, и в это время их оберегали пчелы и муравьи. После, безопасной ночью, лягушки отправлялись к другим декоративным прудам других участков, но для Гриши соседние дома еще много лет останутся далекими краями, схожими с Альпийскими горами или рекой Ганг, о которых рассказывает бабушка. Если ее мир расходился с каждым новым путешествием, то мир Гриши был вполне определен и не нуждался в расширении.

Случалось, во время прохождения испытания малиновым кустом Гриша пробирался мимо лопухов и паутин и за их сплетением не мог увидеть солнечного света или услышать понятных коровьих песен. Часть мироздания под малиновым

кустом не обнаруживалась Гришиными словами, и он терялся в значениях и шел не только ручной ощупью, но и словесной. Узкий растительный коридор к ягоде наполнялся лунками взрослых личинок жуков, бревнами и ветками. Гриша боялся, но малиновую ягоду срывал и выбегал на газон, где ему салютовала яблоня, а картофельные саванны, чтобы угодить, сбрасывали колорадских жуков. В момент триумфа Гриша съел ягоду. Ему попался клоп, и после этого Гриша перестал питаться немытой пищей, которую предоставлял огород. Съестные дары Гриша бережно собирал в баночку – к ручке он привязывал жгут и вешал, как сумку, на шею – и относил к бабушке Матроне. Первые года он носил ей малину, крыжовник, чернику, клубнику, но чем более его мышцы, подобно кукурузным початкам, распирались, тем труднее по добыче пищу он приносил. Он добирался по заборам, лестницам и стремянкам к черешням, вишням и яблокам, и с такой высоты ему открывался неназванный мир. Он собирал красный виноград и, когда касался гроздей, облизывал винный палец и после срезал ножичком ботву. Пятиконечные листья винограда становились птицами, и, пока Гриша усердно, помня клоповый урок, собирал древесные, кустарные и земляные дары, вокруг него случались доисторические животные, а декоративные утки в пруду станови-

лись хранителями океанов. Пес же, обитавший на границе ойкумены, через несколько лет одобрил Гришу как хозяина и впустил его, чтобы тот поливал бархатцы, циннии и ирисы.

Гришино тело не знало усталости утром и вечером: завтракал он домашними яйцами вкрутую, чаем с лимоном или пресной овсяной кашей с абрикосовым джемом, а полдничал молоком и печеньем с маслом. День же в первые годы Гриши никогда не был температурой ниже тридцати градусов и, случалось, до половины сушил пруд. В такое время Гриша обессиливал и ложился на уличные качели. Мягкие подушки отдавали прохладу, набранную в сарае, и Гриша дремал, и для него открывалось пограничье – стеклянные парники, заборы, крыши домов, деревья тянулись к небу и в нем оставались, продолжали за облаками чертить по воле ветра. От дубовых листьев, похожих в движении на ракушки, Гриша научился силе, от зеленых липких шишек – целостности, от кленовых лопастных семян – отдаче, и это обучение, ставшее важнее будущей учебы в школе и университете, осенялось голосами стрижей и синиц. В это время вокруг качелей собирались пес, гуси, коза и другие, и попозже к ним подходила бабушка Матрона с тем, чтобы прервать загородный сон и дать Грише стакана чуть теплого молока.

Одним летом в огородной жизни Гриши произошло событие, сопоставимое с творением мира: родители развернули резиновый бассейн и наполнили его водой. Гриша с утра ожидал часа, в который он будет плескаться, и когда он наступал, то в доме скидывал одежду, хватал надувную косатку и бежал к водоему. В нем скопилась трава, мошки, но в общем вода оставалась чистой. Гриша бросал в нее игрушки и ждал, когда же подойдет бабушка Матрона со стулом, чтобы под ее руководством плескаться. Сидя по пояс в воде, Гриша наблюдал, как дубовые листья, усталые стрижи отражаются в воде, дрожат и становятся иными. Он нырял, и вода затекала в нос, уши, и было бы страшно открыть рот и захлебнуться, но Гриша совершал то, что смерть за ним и не поймет: он открывал глаза и видел сетчатый подводный мир. Он не был похож на установленный огородный, и потому Гриша ощущал себя творцом нового порядка и устройства. Он проводил по скользкому дну рукой, словно возводил крепостную стену, однако его детских легких не хватало на погружение, достаточное для создания мира, и он выныривал. Рядом плавала косатка, сидела

бабушка Матрона и складывала газету, чтобы отбить от головы Гриши слепня, и вдруг он увидел движение огорода: от земли к домовому фонарю прорастало вьючное растение – в корнях оно напоминало сирень, но выше зеленело и распускало белые цветы.

Центром огорода Гриша считал застекленный парник, так как внутри него сходилась год – холодами в парник относили лопаты, грабли, бочки, горшки, весной вскапывали вновь землю и в мокрые ямки, наполненные золой и песком, складывали по семенам огурца или помидора, в течение лета сам Гриша собирал овощи (и в этот час он пятнал соком и царапал ладошки огуречными шипами), и осенью побеги и кусты вырывали и сжигали на погребальном костре. Собирая в миску крупные помидоры, срывая опыленные цветы в земляную мокрую воронку, где обжились муравьи и улитки, Гриша видел: над его головой в стенки парника бились капустницы и махаоны. Случалось, и ему везло, он видел воробьев – они залетали в открытое окошко в половине парника, где прорастала вверх огуречная ботва, и вылетали там, где собирал помидоры Гриша. От их полета дрожали верхние листья и могли упасть к земле плоды. Плодов же год от года давалось так много, что, войдя в парник утром, Гриша заканчивал сбор к вечеру. Он пересчитывал урожай с бабушкой Матроной тазами, и его детский ум не мог осмыслить столь великих числовых значений. Гриша верил, что, самостоятельно собирая урожай, который зимой обернется маринованными банками торжественным столам, он совершает подвиг, хотя и скромный, но действительно прожитый. Сад и огород с самых ранних дней принадлежали Грише, тогда как парник был владением его двоюродного брата Богдана. Почему так они определили владения, Гриша не знал и из почтения к родственнику (и его почтенному возрасту, семнадцати годам) занимался сбором, когда того не было.

Богдан через усилие сажал семена и собирал плоды, но растительный душный парник любил нежно, потому что под его переплетением вьюнков огуречного ствола он совершал свои любовные открытия. Со дня, когда он впервые проснулся от чувства физической любви, парник стал надежным укрытием его подростковых опытов. Богдан умело их проводил: свидание в несколько часов кончалось с распусканьем цветов или восходом луны и так, что его приключения не замечали ни родственники, ни соседи. Богдан прятал среди

огуречных колонн своих любовниц и любовников, прижимаясь спиной к стеклу, и в мгновение его поцелуя рыхлая земля продавливалась под их весом и могла бы стать ложем, а огуречная влага попадала на губы и вязала во рту. Спустя время Богдан утратит парник, как теряется в пути родной город, и подумает, что мог бы стыдиться своей дозволенности, если бы его любви не были простительными лишь потому, что были первыми и не обязывали подростка неконечной верностью и сдержанностью. Вводя в парник одноклассницу или соседского ровесника, Богдан словно бы воссоздавал поступок Адама и Евы. Подлинный же подвиг он с ними не совершал: встречи продолжались раз, два, три, и спустя месяц знакомства они могли бы провести ночь, когда друг друга разбирали, как матрешек, до сердцевины.

Аню он встретил на одном из уличных летних ужинов, когда собирались бесчисленная родня и многочисленные друзья. Аня сидела от Богдана так, что ее лицо терялось в наклонах гостей к тарелкам и в их руках, протянутых к салатам, овощным, мясным и сырным нарезкам, шашлыку, тушеному мясу, маринованным соленьям, к кулебяке, хлебу и блинам, к хрену белому и со свеклой, салу, холодцу, кетчупу и зернистой горчице, компоту из вишни, яблок или винограда, картошке в масле и укропе. Богдан не позволял долго клониться к тарелке, ведь Аня, как он за новыми застольями узнает, признана меньшими детьми руководительницей, и, когда кто-то из патриархальных стариков будет говорить тост, эти дети могут Аню повести за руки в свою игру. Аня выходила из-за стола, и дети укрывали ее в лабиринте можжевельников и елок, вход же к нему оброс по дуге розовым кустом. И был вечер; Богдан выбегал от стола, стоявшего на плитке и бетоне, и оказывался в вечернем, тепловатом лабиринте, и совсем далеко он слышал детей и Аню. Каждый раз он добирался до нее и видел, как она в синих джинсах сидит на песочном возвышении, а вокруг ее ног суетятся дети – они сражались на палках, перебежали дорогу на красный свет или устраивали схватку Дарта Вейдера и Эльзы, и над ними пролетали стрижи и прокалывались первые звезды. Многое время Богдан совмещал любовные опыты, с новым партнером все более чувственные и чужие, и наблюдение за Аней, пока однажды ночь не заняла время дня, а старшие родственники и друзья до прощания с луной продолжили петь песни, по которым постаревший Богдан вдруг окажется в ночах августа; в такое время

Богдан предложил Ане выйти из лабиринта елок и можжевельников. «Я хочу постараться тебя удивить», – добавил он, когда ногами в резиновых калошах они ступили на видимую землю. Чтобы не нарушать бережный уклад владений, Богдан вел Аню к деревянной лакированной беседке с желтой лампочкой, и, пока они пробирались по досочным переулкам сквозь засаженный огород, чтобы не переломить луковые отростки или опахала кабачков, Богдан сорвал ей веточку сирени, сожмуренную и без цветов удачи.

В беседке стояли полные бутылки домашнего вина; Богдан вспомнил, что в парнике назревают помидоры и, кажется, вытянулись огурцы. Он побежал за ними по темноте, распугивая шагами кузнечиков и светлячков, и в футболке принес парниковые дары. Так и прошла их первая ночь, в которую Богдан и Аня, допивая вино и заедая его огурцом, говорили содержательные слова. В другие ночные встречи свидетелем их клятвам стали пес с края ойкумены и сиреневая ветвь. Поздним вечером или утром Богдан переставал водить в парник любовниц и любовников, хотя ему и не хватало жаркого тела и плотных касаний, а без Ани он томился внутри, однако со временем, когда он начал проживать ее вместо себя, томление, тоска утратили страшность и омельчались. Богдан стал окутан такой верностью, на которую есть способность в молодости, и так, как недавно вплетался в огуречную ботву и пальцами ног рылся во влажную землю.

Аня приезжала в огород независимо от родни и друзей. Богдан слушал, как она рассказывала про свои маршруты, но названия улиц, районов не вызывали в памяти образов, хотя он и был жителем города. Приезжала Аня в то время, когда коровьи песни затихали, из прудов выходили те, кто купался, и звучала из леек вода. С Аней Богдан завершал дела дня: вне дома они развешивали мокрые простыни, пододеяльники и наволочки на сушильные нитки, часть из которых на следующий год обросла виноградом, выносили из сарая подушки, плетеные кресла к стеклянному столу. Богдан усаживал Аню удобнее и уходил в дом, откуда выносил несложные блюда – часто это были выжатые соки яблока или апельсина с мякотью, но если Аня обещала пробыть на огороде до утра, то Богдан поднимал шкафы муки, выносил теплые куриные яйца из птичника, из тазов, накрытых газетами, собирал ягоды и создавал пироги. Он выносил несколько треугольных кусочков, теплых, покрытых ломтиком сливочного масла, ставил

С Аней Богдан завершал дела дня: вне дома они развешивали мокрые простыни, пододеяльники и наволочки на сушильные нитки, часть из которых на следующий год обросла виноградом, выносили из сарая подушки, плетеные кресла к стеклянному столу. Богдан усаживал Аню удобнее и уходил в дом, откуда выносил несложные блюда – часто это были выжатые соки яблока или апельсина с мякотью, но если Аня обещала пробыть на огороде до утра, то Богдан поднимал шкафы муки, выносил теплые куриные яйца из птичника, из тазов, накрытых газетами, собирал ягоды и создавал пироги.

на стол и ждал, что скажет Аня: она внимательно жевала пирог и вместе с тем отгоняла от него бабочек или майских жуков. В пироге был весь он, и если блюдо удавалось, то Богдан ночью не знал страха и говорил Ане клятвы с тоном, будто между ними дорогое знакомство продолжается не пару месяцев, а большую жизнь. По небу расходились персеиды, и, чтобы не терять их, он выносил из дома свечи и покрывало-плед, которым Аня укрывала ноги или плечи.

Когда же звезды кончались, Богдан говорил Ане о неразумной любви к ней и уверял, что пройдет немного лет и они прилепятся друг ко другу общей фамилией. Будущее царство они устанавливали тем, что бережно меняли огород своим присутствием: парник, так долго чуждый Богдану обязанностью копать, сеять и собирать, стал началом их времен, в нем перестали складироваться бочки, грабли и лопаты и каждый сорт помидоров и огурцов объединился ниткой необходимого цвета. Далее они обложили мраморной плиткой фундамент парника, тонкую бетонную прослойку, и привнесли черноземной земли, наполнив ее удобрениями и червями.

Одним днем Аня приехала и к вечеру заболела. В начале ей тяжелее стало переносить лейки с водой, выкапывать картофель и чеснок, забираться по стремянке к отдаленным яблокам, и к вечеру ее дыхание сжалось, голос затих в кашле и поднялась температура. У Ани разгорячился лоб, и с него сходила холодная влага. Богдан привел ее в дом, когда она с усилием удержала таз яблок и тем спугнула голубей: уложил на подушках и мягком матрасе, организовал около кровати столик так, чтобы на нем стояла бутылка воды, лекарства, блокнот и ручка, телефон и Аня могла их взять не вставая. Богдан открыл в ее комнате окно, ведь оно выходило к восходу солнца и Аня его очень ждала. Приезжий врач сказал, что у Ани старинное заболевание легких, похожее на пневмонию, но вылечить его можно и без стационара. Говоря о нужных лекарствах, питье воды, рационе, врач не представлял, как Богдан боялся пропустить его слова. Когда врач ушел, Богдан стал хранителем Ани: они мало переговаривались, и в это чумное время он научился понимать ее вопреки словесной тяжести и неточности, в нужное расписание наливая ей стакан и протягивая упаковку таблеток. Чтобы не оставлять Аню одну в сражении, он постелил в той же комнате надувной матрас, но ночами он так же, как Аня, не спал и вслушивался в ровность ее дыхания, которое он слышал как свое. В Богдане проросла тревога за проживание, и в ней он видел серьезность своих намерений: он советовал Ане ложиться спать раньше, чтобы утром проснуться и увидеть рассвет. Он пробуждал Аню, приподнимал ее шею, и она видела, как солнечный свет зеленел небо и перебирался по листовым ветвям, и если Богдан ощущал напряжение Аниных мышц, то позволял недолго порадоваться, что выздоровление близко. Оно случилось после ча-

сов, в которые Богдан вышел из комнаты на огород и проплакался, потому что, раз прожив Аню вместо себя, он разучился жить другим порядком; плач вышел тихим и бесслезным, словно листва пожухла и опала, грядки опустели и притоптали, пруды высохли, а парник разобрали на металлолом и на его месте высадили ровные елки. Когда он вернулся в дом со светом, ему открылось: Аня заправила кровать, собрала лекарства в коробку и попросила сдуть матрас, так как днем и следующим днем им следует доделать начатые перемены в огороде.

Богдан тем утром и не знал, что пройдет около года чудесного времени и Аня сама уподобится огороду, так же своим телом создав дар.

Обретя себя как отца, Богдан не предполагал, что войдет в круг людей, которые поют с гитарой долгие песни за столом и не спешат разойтись по комнатам и после помытой посуды и убранного участка; и центром подобного мира был его дядя Михаил. Время он измерял не возрастными годами, а событиями своих детей: становление их как родителей, получение водительских прав, университет и экзамены, синяки от драк и школа, строительство песочных замков и рождение – Михаил долго сопровождался детьми до того, пока они не основали свои огороды в иных городах; и потому Михаил жил без старости: выходя из дома и спускаясь босиком по нагретым ступеням, он видел, что его дети бегают по саду и огороду с корзинками, банками, лейками, тележками земли и песка к его родителям, приложенным к грядкам и рабаткам. После такого труда он собирал детей на пруд, и так, чтобы свои плавки, купальники и полотенца они собрали и отнесли в багажник машины самостоятельно; и, когда из-под стекла изгонялись осы и слепни, а Юля, его жена, выметала тряпкой сухие репы и ромашковые цветы, они выезжали с участка к пруду. Там Михаил заново находил место, не обнаруженное другими людьми, где от солнца укрывали ивы и березы, трава не стоптана в землю и переход в воду облагорожен песком. Он и Юля расстилали ковры и пляжные полотенца, мазали кремом руки и спины детям и следили за их водной игрой. Михаил надевал солнцезащитные очки и пробовал смотреть на Юлю, но с новыми приездами на пруд она садилась ближе к границе пруда, чтобы самой поучаствовать в игре с детьми. Когда солнце укрывалось за холмом, на котором стоял зеленый храм, Юля собирала полотенца и на предложения помощи не отзывалась. В дом они приезжали и для

гостей, соседей или друзей улыбались и выглядели едиными, но ночью в доме находились дополнительные комнаты, чтобы спали они раздельно.

Время для Михаила началось, когда завершилось: засыпание прерывалось соловьиными и совиными воями, и, чтобы занять себя, Михаил выходил на балкон, с которого ему виднелись многие-многие сады и участки, дома знакомых и родственников. Он вглядывался сквозь ветки облепихи и рябины в те окна, где до восхода горел свет: за столами, в кроватях он разглядывал людей разных возрастов, руками они притягивались к другу другу несложными касаниями – минувшее сложилось в крошечную коробочку, и Михаил взял обиду на себя, что столько проживал себя и так пусто... Признание за собой единичности изменило огородный быт, ибо месяцами над домом и участком шевелились сине-черные тучи и проливали воду; проливали так, что лягушачий пруд переполнялся и топил корни жасмина и бархатцев, плодились комары, всегда плотная и поросшая лишайником земля под корнями яблонь, вишен и черешен треснула и размылась. Дождь прекращался на день-другой, и родня и друзья замазывали воском порезанную кору, отыскивали свежей земли и песка, вставляли толстые стекла в парниковые рамы; однако разрушенными оставались качели с прокисшими подушками, плиточные дорожки, мята и ромашки в длинных горшках и тандыр – с новым ливнем непочиненное смывало с огорода, а то, что уберегли, снова разрушалось. Случалось, и громоотвод на крыше не управлял молнией, и она валила клен или дуб; от их падения уродовался забор, газон, а циннии, ирисы и тюльпаны мялись или вырывались из земли. Юля уговорила Михаила вызвать несколько раз пожарных, но от воды их машины буксовали задолго до огорода, и тогда огонь тушили вместе с соседями песком и землей; огородный край разрушался, и в дни потерь животных, бьющегося парникового стекла и разодранных плодов к Михаилу отнеслись с новым доверием и уважением – из родственника и знакомого, сидящего на углу праздничного стола, он изменился в руководителя, после чего он самостоятельно искал глину, бетон и доски для восстановления забора, новые стекла, мраморную плитку для укрепления клумб, переделывал птичник и будку. Юля вернулась к нему, хотя их разговоры кончались на планах ремонта и покупок, и Михаил продолжал трудиться с верой, что он преодолет потоп и разрушения, восстановит дом и сосредоточит новое мироустройство на

себе. Такое знание помогало ему не спать многие дни, которые он заполнял обсуждением с соседями новых дорог и освещения или перекладыванием плитки, однако его сил не хватало, чтобы осушить подвал, восстановить котлы отопления и электропроводку, снять сырые обои и наклеить свежие; и, пока он трудился на огороде и в саду, по стенам дома расходились, как корни, трещины, падала, как вода, штукатурка и, как кожа, отклеивались обои. Юля требовала охраны дома, но в таком случае Михаил не следил за садом и огородом, где снова появлялись лужи и ручьи.

Дождь кончился, когда Михаил выяснил причину разлада с Юлей. Узнал он ее ночью, вернувшись с огорода и отправив животных, укрытых в гостинной и дополнительных ваннах, по клеткам и коврам. Собирая в комнате лягушек, он услышал, как Юля говорит с человеком; он прошел в их спальню и увидел, как она вплетается в ветвистое объятие знакомого силуэта, имя которого Михаил вспомнил по необычному орнаменту родинок на спине. Утром тучи разошлись, открылось солнце и иссушило землю так, что в трещины дома попала пыль, а деревья почти не могли созреть плодов, потому что пыльный ветер испарил влагу в земле. Михаил думал о Юле и хотел бы поговорить о ней, но она уехала, когда он спал, и после ее отъезда за несколько дней в доме, в саду, в парнике и на огороде прекратились люди – соседи вернулись на свои участки, обновили заборы на более крепкие и высокие, друзья отправились в свои края, а родственники, за дни потопа повзрослевшие или постаревшие, вышли на поиски другой благодатной земли, хотя друг друга провожали со слезами и взаимными обещаниями встречаться и возвращаться в чудесный дом; но звучали слова устало, и за час, когда из леса взлетали совы, по листве карабкались июньские жуки и проходила от пруда серебристая дымка, в которой Михаилу мерещился сад с соловьями, дятлами и домашними голубями, – отъезжали к Воронежу, Риге, Енисею, Македонии, берегам Янцзы, но сумерки подступали скоро, и нечему было подсвечивать дымку. Последним отъезжал сам Михаил: он пообещал нескольким родственникам, что будет приезжать по выходным, чтобы пообщаться с Евой, младшей дочерью, но внимательно выслушал его один Афанасий Алексеевич, Юлин отец.

Ева звала его дедушка Сено. Не потому, что от времени его волосы побелели и на морщинистом лице выглядели как сложенная сухая трава, но потому, что сено было способом проживания

для Афанасия Алексеевича. После потопа огород не давал щедрых урожаев, как несколько месяцев назад, и в лучшем случае Афанасий Алексеевич мог выкопать несколько картофелин с ладошку Евы и сорвать кислый крыжовник, а трава, пригодная для кормления козы и поросят, занимала все большие площади участка. Огород стал шире без яблонь, вишен, черешен, облепихи и рябин, и Афанасий Алексеевич вместе с Евой (в синей шляпке-зонтике, чтобы не перегреться) выходил на заре с граблями и продленными рядами стягивал в кучки желтую траву; Ева слушала, как она колосится и перезванивается, а дедушка Сено выдыхает и подолгу, оперевшись о ручку грабель, отдыхает от сбора и рассматривает далекие границы травяного огорода. До жары он с Евой успевал на тачках перетащить сено в тень бывшего птичника, чтобы по темноте накормить поросят и козу, и после они возвращались в дом. Там Афанасий Алексеевич отводил Еву в комнату на втором этаже, полную папоротников, кактусов и других комнатных растений, укладывал на раскладной диван, накрывал пододеяльником без одеяла и, пока она засыпала, рассказывал ей, как многое время назад, весной ли, в начале или в конце лета, ее многоюродный брат Богдан облагородил парник, на месте которого она наблюдает крошки фундамента. Афанасий Алексеевич поглаживал Еву по голове; конечно, замечал ее сон, но продолжал говорить о путешествиях к Гангу; иногда он взывал к тем временам, когда он и его жена не постарели и только пришли в неназванные земли, на которых и стоят участки и соседские дома, – они придумали названия улиц и нумерацию зданий, провели от города автобусные маршруты и сохранили яблочные кривые сады, оставленные прошлой цивилизацией. Афанасий Алексеевич выходил из комнаты Евы и обходил других оставленных родственников, но они прожили в доме до нескольких недель и в назначенный час, после вечерней кормежки животных, собрали свои вещи, которые лежали в полочках, ящиках, шкафах и коробках из-под печенья, с тем, чтобы их вечером нашли и увезли, попрощались с дедушкой Сено и Евой и отправились к автобусной остановке. По выходным к ним приезжал Михаил, как и обещал, и другие знакомые, но Афанасий Алексеевич и Ева проводили свое хозяйство без их участия.

Однажды Ева обнаружила под песком глубокую пластиковую емкость, и тогда дедушка Сено объяснил, что раньше это был декоративный пруд под жасминовым кустом. Восстановить его Ева не

смогла, потому что твердая земля не принимала семена растений, а вода не успевала выливаться в емкость, так как по шланговому пути испарялась; но после такой пробы она выросла как девушка и ожидала дня, в который оставит огород. В те же несколько недель, что Ева раскрылась, Афанасий Алексеевич постепенно прекратил собирать сено и кормил козу и свиней запасами комбикорма; делал он это до первого солнца, потому что с возрастом его кожа болезненно отзывалась на природный свет и домашние средства, даже сметана, которую Ева размазывала по рукам дедушки Сено, не лечили. Он много ел овсяной каши и заедал ее молоком и компотом, однако эта пища, вмещавшая в себе великую преданность Евы, не давала необходимых сил, и он время проводил за сном, тогда как Ева принялась изменять огород – на несколько дней зацветали розы, прилетали птицы, появлялись муравейники и улитки, по заборам пробегали кошки, а виноградные лозы пускали бутоны, но обилие прекращалось, потому что одна Ева не могла поддерживать его. Как и дедушка Сено, она надевала особую одежду от солнца и выходила в край, когда-то полный даров, чтобы сгрести скорорастущую траву и накормить козу. Огород становился душным морем: в ботинки Еве попадали камушки и песок, руки царапали зеленые окончания травы, лицо сырело и высыхало, и уборка огорода прекращалась вместе с полноправным днем. Ева переодевалась и обходила те места, где устанавливала живой порядок, хотя подобных мест и было немного: менее чем за час она поливала горшок с анютиными глазками, шпатлевала трещины в стенах и готовила дедушке Сено ужин. Ночью она открывала окна на кухне, обставленной дорогой дубовой мебелью, под руку приводила Афанасия Алексеевича, и тот без спешки ел. Волос головы и бровей у него не осталось, и Еве он напоминал младенца. Афанасий Алексеевич пробовал говорить с Евой, но слабые мышцы рта трудно выговаривали и трехсложные слова, и потому они придумали пользоваться записками – Афанасий Алексеевич писал их с конкретными просьбами (принести воды, собрать сено), но чаще он писал почерком первоклассника долгие послания, в которых рассказывал о своем времени, и Ева читала эти истории вслух за ужином и переживала то, что было пережито многими людьми до нее. Одну из последних фраз, произнесенных дедушкой Сено, Ева запомнила во время ужина: «Подобные истории не для конкретных дат и имен, но для твоей несокрытости». После

Афанасий Алексеевич перестал общаться и записками, а сон и бодрствование проводил в большой спальне, где на минимальном звуке он включал телевизор. Ева кормила его с ложки; она могла бы рассказывать одну и ту же огородную историю изо дня в день, но в каждой искала то, что порадует дедушку Сено или вызовет у него интерес, и поначалу так и происходило, но чем ближе наступала осень, тем медлительнее и слабее он отзывался на слова Евы. Афанасий Алексеевич жалел, что Ева сидела с ним немного и уходила, думая, что ему нужен отдых, хотя было наоборот, потому что внутри, вопреки тягучему телу, он оставался подвижен тогда, когда имя Евы почти забылось, а ее лицо вызывало будто вложенные образы и воспоминания. Афанасий Алексеевич не заметил, как он перестал видеть девушку, которая в четкие промежутки приходит и кормит его. Ее место заняла темнота, и дедушка Сено так и не узнает, что Ева высадит новый огород на другой земле.



«Я ВАС ЛЮБЛЮ ЛЮБОВЬЮ БРАТА, ОТЦА, МАТЕРИ...»

ГОГОЛЬ И ЕГО СЕСТРЫ

НАТАЛИЯ АНИНО



Это строки из письма Николая Гоголя сестрам, Елизавете и Анне*. Друзья и знакомые писателя не раз подтверждали справедливость такого необычного признания. «Меня поразило, что Гоголь, который еще так молод, говорил о своих сестрах и даже матери... будто он отец семейства», – вспоминала Александра Смирнова-Россет**.

Гоголь отказался от своей доли наследства в пользу матери и сестер, обсуждал с матерью хозяйственные дела, занимался воспитанием и образованием сестер, посылал им подарки. Сестры это ценили. «Так молод, и так заботился о нас, как мать», – вспоминала Елизавета Васильевна (1; 179). «Удивительно, какая у него была нежная заботливость о нас», – писала Вере Аксаковой Анна Васильевна (1; 144).

Николаю Гоголю едва исполнилось 16 лет, когда он остался единственным мужчиной в семье. Будто по воле злого рока мужчины в этом доме умирали рано. В браке Василия Афанасьевича и Марии Ивановны Гоголей-Яновских родилось двенадцать детей: шесть мальчиков и шесть девочек. Два мальчика появились на свет мертвыми, трое умерли в детском возрасте. Остался один Николай. Его жизнь молодые родители вымолили перед чудотворным образом святителя Николая. В честь него и назвали сына. Сам Василий Афанасьевич умер сорока восьми лет. Не дожили до тридцати лет муж Марии Васильевны Гоголь Павел Трушковский и сын их Николай, а их сыновья Иван и Михаил умерли младенцами. Недолго прожили в браке и остались вдовами Елизавета Васильевна и Ольга Васильевна. В семье Гоголей сохранилось поверье о проклятии, которое после какой-то ссоры наложил на

* Рим. 16 апреля 1839 года. См.: Гоголь Н.В. Собр. соч. и писем в 17 т. Т. 11. Письмо 103.

** Виноградов И.А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. В 3 т. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Т. 2. С. 335. Далее все ссылки на это издание с указанием в тексте тома и страницы.

всех мужчин рода подрядчик, строивший дом. Однажды горничной Гоголей приснился сон, будто в большой комнате сидят все умершие в этой семье мужчины (1; 207). Мистика, конечно. Впрочем, мистических историй в этой семье хватало. Удивительна сама встреча Василия Яновского и Машеньки Косяровской.

Глава 1. «Любви пленительные сны»

Василию Яновскому было 14 лет, когда он увидел пророческий сон: храм, отворились царские врата, вышла царица «в порфире и короне». Она обратилась к Василию, предсказала ему болезни, исцеление и женитьбу. «Вот твоя жена», – указала царица на маленькую девочку у своих ног. Через некоторое время молодой человек попал в дом доброй знакомой своих родителей Анны Матвеевны Трошинской. Неожиданно в комнату вошла кормилица с семимесячной Машенькой Косяровской на руках. Каково же было изумление Василия, когда в этом ребенке он узнал девочку из своего необычного сна. Отец Маши служил то в Орле, то в Харькове. Жена следовала за ним. Иван Матвеевич решил, что девочке будет спокойнее в доме его сестры. Василий часто приходил к Анне Матвеевне, забавлял Машу игрушками. Прошло еще почти 13 лет. И снова он увидел сон. Тот же храм. На этот раз открылись не царские врата, а боковые алтари. Вышла женщина необыкновенной красоты и указала Василию на девушку в белом платье: «Вот твоя невеста». И он опять узнал Машу Косяровскую. Эти сны со слов мужа пересказала Мария Ивановна Гоголь в письме С. Т. Аксакову (1; 80).

Маша тоже видела сны, счастливые и тревожные. Они волновали, иногда пугали. Всю жизнь Мария Ивановна Гоголь будет верить снам, предсказаниям, гаданиям.

По обычаям того времени, Василий сначала рассказал о своем намерении жениться родителям Маши и Анне Матвеевне. С ней молодой человек делился сомнениями, может ли Маша полюбить его, ведь она еще не рассталась с куклами. Анна Матвеевна всегда его успокаивала и поддерживала. Ей казалось, что такой скромный, деликатный, образованный человек будет хорошим мужем для ее любимицы.

Тогда в искусстве и дворянском быту господствовал сентиментализм, и он был созвучен характеру Василия Яновского. Однажды Маша с девушками гуляла по берегу реки. Неожиданно с другого берега послышалась приятная музыка. Музыкантов не было видно. Они скрывались в садах. Но Маша догадалась, что это придумал ее жених. Идеалам и вкусам молодости Василий Афанасьевич будет верен всю жизнь. В его саду были тенистые аллеи, беседки, мостики, гроты с поэтическими названиями: «Долина спокойствия», «Грот дриад».

Василий писал Маше письма, полные нежных слов. Она никогда не распечатывала их сама, сначала отдавала отцу или Анне Матвеевне. Читая письма, отец Маши обычно улыбался и приговаривал: «Видно, много читал романов». Ответные письма Маша писала под диктовку отца. Василий и Маша обвенчались, когда ей исполнилось 14 лет. С первых дней семейной жизни они поняли, что созданы друг для друга, так совпадали их чувства и вкусы. Одному радовались, одни книги читали, причем читали всегда вместе. «Кадм и Гармония» Михаила Хераскова особенно сильное впечатление оставила. Книга эта «возбудила во мне чувства неземные, представлялась мне приятным сновидением», – вспоминала Мария Ивановна (1; 119).

Среди соседей Гоголей был богатый и знаменитый Дмитрий Прокофьевич Трошинский, бывший министр*. Он приходился Марии Ивановне еще и дальним родственником (его брат был женат на ее любимой тетке, Анне Матвеевне Косяровской). Великолепный дом Трошинского, настоящий дворец, в его имени Кибинцы поражал гостей роскошью: картины европейских художников, богатая библиотека, фарфор. Трошинский содержал собственный оркестр и домашний театр. «Кто знал Кибинцы в дни их величия и славы, те не могут и теперь без увлечения вспоминать об этом сказочном мире», – писал друг Гоголя А.С. Данилевский (1; 497). В доме Трошинского Василий Афанасьевич и Мария Ивановна познакомились с драматургом Василием Васильевичем Капнистом и поэтом Гаврилой Романовичем Державиным. Державин и Трошинский – два сановника екатерининского века – церемонно раскланивались, не хотели садиться один прежде другого и называли друг друга «Ваше высокопревосходительство». Трошинской всегда выходил к столу в орденах и ленте.

Особенно много гостей собиралось 26 октября на именины Дмитрия Прокофьевича**. О размахе торжеств можно судить по его письму Л.И. Голенищеву-Кутузову. «...В течение шести дней сряду за столом у меня сидилось с лишком 90 персон, а на конюшне гостинных лошадей было более 200» (1; 134).

В зале, а иногда в оранжерее, ставили спектакли: сцены из античной мифологии, комедии из жизни Малороссии. Одним из авторов комедий был Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. На Рождество устраивали маскарады. Оркестр исполнял Моцарта. Гости в роскошных костюмах входили в зал. Зрелище было ярким и красочным.

Любил Трошинский и грубые, унижающие человеческое достоинство развлечения. Шестидесятиведерную бочку наполняли водой. Бросали на дно золотые монеты. Каждый мог попытаться счастья, то есть залезть в бочку и собрать монеты. Непременно все. Если не удавалось, приходилось золото возвращать. Трошинский сидел с гостями на балконе и «потешался над водолазами» (1; 594). А шуты его бедолаг передразнивали.

Вряд ли Марии и Василию, с их добротой и чувствительностью, такие забавы нравились. Они никогда не напрашивались в гости к богатому родственнику. Напротив, Дмитрий Прокофьевич приглашал их и удерживал. Трошинский ценил Василия Афанасьевича как талантливого рассказчика и любовался его женой. О ней же было общее мнение – дивная красавица. Мария участвовала в домашних спектаклях в Кибинцах. Когда Дмитрий Прокофьевич через лорнет рассматривал афишку и находил ее имя, бывал очень доволен. Мария и Василий с удовольствием возвращались домой и никогда не скучали, а если приходилось расставаться, Мария писала мужу письма. «Душа души моей, милый Василько», «Дети, наши, слава Богу, здоровы... но меня ничего не веселит, что тебя нет со мной, милый друг мой. На все смотрю стесненным сердцем. <...> Остаюсь навсегда верный тебе друг Марья Яновска» (1; 62, 81). Много лет спустя Мария Ивановна Гоголь вспоминала, что у нее в то счастливое время было какое-то тревожное «предчувствие души», будто знала, что рано потеряет любимого мужа. Двадцать лет пролетели как сон.

* Д. П. Трошинский (1754–1829) уходил в отставку дважды. С поста министра уделов – 9 июня 1809 года, с поста министра юстиции – 25 августа 1817-го.

** День памяти великомученика Дмитрия Солунского.

Глава 2. Прекрасная панночка

Мария Ивановна осталась вдовой в неполные 35 лет. Горе ее было безмерно. Она не хотела жить, отказывалась от пищи. С большим трудом ей разжижали зубы, чтобы влить несколько ложек бульона. Только Анна Матвеевна, всегда имевшая на Марию влияние, сумела вернуть ее к жизни.

Пятеро детей и немалое хозяйство стали для Марии Ивановны тяжелой ношей. В лучшие годы у Гоголей было до 300 душ и 1000 десятин земли. Много это или мало для безбедной жизни? Как посмотреть. «Ведь есть же на свете богатые люди!» – воскликнула Василиса Егоровна, услышав, что у Гриневых 300 душ (А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»). «Отец мой имел пять тысяч душ. Следственно, был из тех дворян, которых покойный граф Шереметев называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить!» (А.С. Пушкин, «Русский Пелаг»). Когда Александра Россет выходила замуж, у ее жениха Николая Смирнова было 6000 душ, 22 000 десятин земли в Московской, Тульской, Калужской и Псковской губерниях, несколько домов в Москве и Петербурге.

В те же годы вдова Е.А. Арсеньева, бабушка Лермонтова, крепко держала в руках свое имение Тарханы. И Тарханы давали доход. Все было рассчитано: свои плотники, столяры, ткачи, домашний врач и даже живописец. Баловства и лишних трат Елизавета Алексеевна не допускала, зато на лечение и образование внука денег не жалела.

Гоголи такими качествами не обладали. Как говорили соседи, Василий Афанасьевич и Мария Ивановна были чужды житейской прозы. Управляющий обманывал. Дворовые пользовались барскими кладовыми. Продать хлеб, овощи, птицу было трудно. Все это производилось и в соседних хозяйствах. Поэтому не хватало наличных денег. Хотя «люди все свои, без жалования (крепостные. – *Н. А.*)», «жизнь была дешева» (1; 154).

Дом Манилова, открытый всем ветрам, не только фантазия писателя. «Вообразите, что мы в шубах в своих комнатах не можем согреться. <...> ...Видно, домик мой ветшает... кругом в стены, из-под полу дует», – писала Мария Ивановна Петру Косяровскому (1; 103).

Мария Ивановна была то недоверчива, то легковерна. Она поддалась на уговоры своего зятя Павла Трушковского открыть кожевенную фабрику и шить сапоги, подбитые золотыми гвоздиками. Сам Трушковский стал жертвой какого-то заезжего авантюриста. В одном экземпляре сапоги выглядели удивительно красивыми. Но наладить производство, найти мастеров, обеспечить сбыт – совсем другое дело. Затея обернулась убытками настолько значительными, что пришлось заложить половину Васильевки и продать хутор под Кременчугом.

Василий Афанасьевич баловал свою жену подарками, и она к этому привыкла, не могла себе отказать и часто тратила деньги нерасчетливо. Покупала икру, «конфеты», кружево, тюль, дорогие стеариновые свечи.

Именины Марии Ивановны отмечали очень торжественно. Они приходились на 1 октября и совпадали с Покровом. Гостей собиралось не менее сорока человек. После службы в церкви начинался обед. Рассадить всех гостей за одним столом было невозможно. Накрывали несколько столов, включая письменный и ломберные. Расставляли их в разных комнатах. Между обедом и ужином устраивали танцы, а между танцами разносили подносы с виноградом, печеньем, конфетами. Гости могли и сами подойти к одному из столов и положить угощение на свою тарелку. Мария Ивановна любила делать гостям подарки. Очаровательная, добрая, щедрая, она очень нрави-

Сам Трушковский стал жертвой
какого-то заезжего авантюриста.
В одном экземпляре сапоги выглядели
удивительно красивыми. Но наладить
производство, найти мастеров,
обеспечить сбыт – совсем другое дело.
Затея обернулась убытками настолько
значительными, что пришлось заложить
половину Васильевки и продать хутор
под Кременчугом.

лась соседям. «Це ангел Божий», – вот общее мнение. Только дочери Марии Ивановны его не разделяли. Николай Васильевич призывал сестер смотреть на мать «как на святую, исполняя малейшие ее желания»*. Но у них плохо получалось. По вечерам Мария Ивановна у себя в спальне читала, вязала чулки, раскладывала пасьянс или гадала. Дочери должны были перед сном навестить ее, посидеть, пожелать доброй ночи. Лиза редко появлялась, не могла себя преодолеть. Когда-то Мария Ивановна высекла Лизу, и та не простила мать. Анна ладила с матерью, даже шила для нее красивые чепцы, но не любила. «Всем нравилась, но живущим с ней было тяжело. Мы, все три, очень страдали», – писала Анна Васильевна Пантелеймону Кулишу (1; 151). Даже кроткая Ольга с ней соглашалась: «Мать была невыносима и подозрительна» (1; 213). Сестрам не хватало материнской любви. Хотя, конечно, Мария Ивановна любила их и по-своему желала им добра.

К единственному сыну она относилась иначе. Это было больше, чем любовь. «В обожании сына Мария Ивановна положительно доходила до Геркулесовых столпов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сына, рассказывая об этом при каждом удобном случае», – вспоминал Александр Данилевский (1; 496). Дочери пытались вернуть ее к реальности из мира фантазий, но безуспешно. Пытался и сам Николай Васильевич, и делал это очень деликатно. «Вы слишком предаетесь вашим мечтам... не называйте меня гением... меня, доброго, простого человека... не изъясняйте никакого мнения о моих сочинениях... скажите... что он добрый сын. Это для меня будет лучшая похвала... не судите никогда, моя добрая и умная маменька, о литературе. Вы в большом заблуждении»**.

Подозрительность и болезненное воображение Марии Ивановны отмечают многие. Но в чем они выражались? Свет на эту загадку может пролить одно признание Гоголя: «Вижу, что кто-нибудь споткнулся; тотчас же вообра-

* Письмо Н. В. Гоголя сестре Анне от 22 мая 1851 года.

** Письмо Н. В. Гоголя к М. И. Гоголю 12 апреля 1835 года. Т. 10. Письмо 247.

жение за это ухватывается, начинает развиваться – и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы» (3; 49)*. Оба, мать и сын, отличались болезненным во-ображением. У Николая Васильевича оно находило выход в творчестве. Как справлялась Мария Ивановна со своими фантазиями, можно только предпо-лагать.

Загадка была и в ее внешности. Необыкновенной белизны кожу оттеня-ли темные глаза и черные волосы. Это лицо, склонившееся над младенцем, оставило необыкновенной силы впечатление, вошло в сознание и подсо-знание будущего писателя. Вспомним гоголевских красавиц. «У сотника была дочь, ясная панночка, бела, как снег» («Майская ночь»). «Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям» («Страшная месть»). «Она лежала, как живая. Чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро... брови – ночь среди солнечного дня» («Вий»).

Сохранился портрет Марии Ивановны Гоголь двадцатых годов. Первое впечатление: вот же она, панночка из гоголевских повестей. Что-то не-обычное во взгляде, в повороте головы тревожит и даже пугает. Может быть, художник это придумал? А может быть, угадал? Была еще одна загадка: Ма-рия Ивановна как будто не старела. «Бывало принарядится – так моложе дочерей своих выглядит», – вспоминала ее современница Ольга Захаровна Королева (1; 348). Сергей Тимофеевич Аксаков впервые увидел Марию Ива-новну, когда ей было уже 50 лет, возраст по тем временам очень солидный, и был поражен: «Она была так моложава, так хороша собой, что ее решитель-но можно было назвать только старшей сестрой Гоголя» (2; 690).

Умерла Мария Ивановна Гоголь семидесяти семи лет. От удара (инсульта). У нее не было ни морщин, ни седых волос.

Глава 3. Неоконченная повесть пушкинской поры (Маша)

Старшую дочь Гоголей Машу и Николая разделяли только два года. Они вместе росли, играли, читали, верили, что в большом пруду Васильевки жи-вут русалки. Впервые они расстались, когда Никоша уехал учиться в Полта-ву, а позднее – в Нежин. Василий Афанасьевич хотел и дочери дать хорошее образование. Он обратился к Трошинскому с просьбой помочь устроить Машу в пансион госпожи Арендт, который располагался в селе Богдановка под Полтавой**. При этом он сообщал, что его дочь «по-русски и по-французски читать умеет» (1; 141).

Разлука с братом печалила Машу, и она писала домой тревожные пись-ма. «Мне очень горестно, что я не получаю никакого ответа на мое письмо к братцу; он, верно, меня совсем забыл или, может быть, я написала что-нибудь ему неприятное... напишите ему, чтоб он меня простил по моей мо-лодости» (1; 140).

Училась Маша с удовольствием и очень успешно. Сохранились ее тетра-ди по истории, географии, литературе на французском языке и стихи ее сочинения на русском и французском. Маша знала наизусть множество сти-хов. Особенно любила и часто читала вслух сестрам и гостям стихи Пуш-кина. Она сама была похожа судьбой и характером на его героинь. «Марья

* Это Гоголь признавался Федору Васильевичу Чижову (1811–1877), математику, адъюнкту-про-фессору Санкт-Петербургского университета, издателю и литератору.

** Мать Николая Федоровича Арендта (1785–1859), доктора медицины, тайного советника, лейб-медика Николая I.

Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена» (А.С. Пушкин, «Метель»). Маша Яновская читала и французские, и английские, и немецкие романы. В 19 лет она влюбилась. Говорили, что не обошлось без интриги Клеменковой, соседки Гоголей. В ее дом ездил из Полтавы двадцатидвухлетний красавец Павел Трушковский. Красив-то красив, но беден. Большая опасность для ее дочерей, молодой вдовушки и девицы. Клеменкова не стала дожидаться развития событий и привезла Трушковского в дом Гоголей. Маша и Павел полюбили друг друга – к великому неудовольствию Марии Ивановны. Ее тоже не устраивал жених без средств и перспектив. Но Маша проявила неожиданную настойчивость. «Вы потому не хотите, чтобы я выходила замуж, что боитесь быть бабушкой», – заявила она матери (1; 196).

Свадьба Маши и Павла Трушковского состоялась 24 апреля 1832 года. Гоголь был в это время в Петербурге. Он прислал 500 рублей и наставления. «Я всегда был враг этих свадебных церемоний. <...> Напомните сестрице о строгой бережливости», – писал он матери 25 марта 1832 года*.

У Трушковского не было средств снять квартиру. Он поселился с молодой женой в Васильевке. Ездил на службу в Полтаву, а в свободное время пытался заниматься хозяйством. Выращивал виноград и табак, но не преуспел. А его затея с кожевенной фабрикой, о чем уже говорилось, принесла только долги.

Семейная жизнь Маши продолжалась только четыре года. В 28 лет Павел Трушковский простудился на охоте, заболел и умер. Сыновья Маши Иван и Михаил умерли младенцами. Остался сын Коля, старший. Он вскоре уехал учиться в Полтаву. Маша осталась одна и очень тосковала. «Бедная сестра, ей казалось, что она лишняя в доме», – вспоминала Ольга (1; 199). Маша просила мать выделить ей часть хозяйства, но Мария Ивановна любила сама всем распоряжаться. Какие-то перемены в жизни Маша связывала с новым замужеством. Ей очень нравился Александр Данилевский. Он часто бывал в их доме, но приезжал навестить Марию Ивановну, а к Маше был равнодушен. Он любил другую женщину, Ульяну Похвисневу. На ней вскоре и женился.

Мечты Маши о новом замужестве очень не нравились Гоголю. Он писал сестре письма, убеждал быть благоразумной и не совершать новых ошибок. Писал Гоголь и матери, надеясь, что она повлияет на Машу. «Девушке 18-летней извинительно предпочесть всему наружность, доброе сердце, чувствительный характер и для него презреть богатство и средства для существования. Но вдове 24 лет и притом без большого состояния непросто ограничиться только этим. <...> Ее самое лучшее состояние – свободное состояние»**.

Если Николай Васильевич писал матери всегда деликатно, то в письмах к Данилевскому не скрывал своего раздражения. «Сестру мою зудит страшным образом выходить замуж. <...> Почти готов держать пари, что она... уже стоит в церкви под венцом»***.

Когда-то Николай Васильевич писал Маше письма, посылал книги и ноты. Теперь связь между братом и сестрой оборвалась. Маша была обижена, даже оскорблена его непониманием. Она умерла тридцати трех лет от скоротечной чахотки. «Мы поплакали, 6 недель были в трауре и скоро забыли о ней», – вспоминала Ольга (1; 200). Неужели ничего не осталось, даже воспоминаний?

* Т. 10. Письмо 130.

** Т. 11. Письмо 61.

*** Письмо к А.С. Данилевскому, февраль 1938 года. Т. 11. Письмо 60.

Нетрудно заметить, что самое большое вознаграждение за работу получала танцовщица. И это объяснимо: умение танцевать для девицы на выданье важнее географии и арифметики.

Остался Коля Трушковский. Его любили все: бабушка и тетки. Он был добрым и очень способным. Блестяще окончил полтавскую гимназию, поступил на Восточный факультет Казанского университета, писал работы по арабской литературе. Позднее Трушковский продолжил образование в Санкт-Петербургском университете. Последние годы недолгой жизни Николай Трушковский посвятил изданию сочинений своего знаменитого дяди.

Глава 4. «Беззаконная комета в кругу расчисленных светил» (Гоголь и Патриотический институт)

Патриотический институт был основан вскоре после Отечественной войны 1812 года для дочерей погибших и раненых воинов. С 1820-го он располагался в Петербурге на 10-й линии Васильевского острова. Институт находился под попечительством императрицы Александры Федоровны.

16 апреля 1831 года Гоголь писал матери: «Государыня приказала читать мне в находящемся в ее ведении институте благородных девиц» (1; 734). Удивительно, как умел Гоголь точно выбранным словом придать фразе лестный для него смысл. Мария Ивановна могла подумать, что императрица дала распоряжение при личной встрече. Этого, конечно, не могло произойти. Коронованные особы не дают аудиенций чиновникам 14-го класса.

А вот как это было на самом деле. Преподавание истории в младших классах института было обязанностью классных дам. Когда увеличилось число воспитанниц, возникла необходимость взять учителя. Рекомендацию Гоголю дал П. А. Плетнев*, высоко ценивший молодого писателя. В начале 1830-х Плетнев исполнял обязанности инспектора Патриотического института и преподавал там российскую словесность. Начальница института Л. Ф. Вистингаузен подала представление на имя статс-секретаря императрицы Александры Федоровны Н. М. Лонгинова. Последовала резолюция: «Ея Императорско»е В«еличеств»о соизволяя на сие представление повелевает допустить г. Бюля к преподаванию» (1; 733). Фамилия Гоголя, очевидно, была искажена при переписывании.

Жалование Гоголю определили 400 рублей в год. В 1832-м оно было увеличено до 1200 рублей. Сравнимо с годовыми окладами других преподавателей института.

Учитель географии и арифметики Постников получал 1500 рублей. Учитель французской словесности Лустоно – 1200. Учитель немецкой словесно-

* Петр Александрович Плетнев (1791–1861) – критик, издатель «Современника», профессор и ректор Санкт-Петербургского университета.

сти Шреберг – 1200. Учитель рисования Яковлев – 1000. Танцовщица Шимаева – 1800 рублей (1; 735).

Нетрудно заметить, что самое большое вознаграждение за работу получала танцовщица. И это объяснимо: умение танцевать для девицы на выданье важнее географии и арифметики.

Очень скоро у Гоголя появилось желание устроить в институт Анну и Лизу. «Какие здесь превосходные заведения для девиц. <...> Патриотический и Екатерининский самые лучшие», – писал он матери 9 октября 1831 года*. Оснований не имелось никаких: Василий Афанасьевич не был военным. Однако Гоголь предложил принять сестер в институт взамен его жалования и даже сумел доказать очевидную выгоду для института подобного решения. Сэкономленные на его жалованье деньги надо поместить в коммерческий банк под проценты. Так и сделали. Однако уже в октябре 1833-го Гоголь получил единовременно 200 рублей, а с 1 января 1834-го ему возобновили выплату жалованья. Между тем Анна и Лиза содержались за казенный счет до декабря 1839-го.

В 1834 году Гоголь был включен в список учителей, награжденных по случаю очередного выпуска воспитанниц. Императрица пожаловала ему бриллиантовый перстень (1; 740). И это несмотря на то, что в 1832 году Гоголь не вернулся в срок после летнего отпуска.

Из представления начальницы Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен статс-секретарю императрицы Александры Федоровны Н. М. Лонгинову: Гоголь был «уволен в отпуск на 28 дней... считая с 1 июля. По истечении сего срока г. Гоголь к должности не явился и объяснения на сей случай никакого не представил, но уже прибыл в первых числах сего ноября, следственно просрочивши три месяца» (1; 738). П. А. Плетнев писал по этому поводу В. А. Жуковскому 8 декабря 1832 года: «Он (Гоголь. – *Н. А.*) в службе и обязан о себе давать отчет. <...> Четыре месяца не было про него ни слуху, ни духу. Оригинал» (1; 659). Напомню, что Плетнев – инспектор института. Между тем в письме нет возмущения, негодования, только легкая ирония, даже добродушная. Очевидно, Л. Ф. Вистингаузен и Н. М. Лонгинов тоже проявили снисхождение. Чем объяснить? Скорее всего, личным обаянием Гоголя и бережным отношением старших по возрасту и служебному положению к талантливому молодому человеку. Гоголю в это время всего 23 года.

Каким же запомнился учитель Николай Васильевич Гоголь своим воспитанницам? Они привыкли к рассказам по истории, составлению хронологических таблиц, повторению дат. Ничего подобного не было в лекциях Гоголя. Он не составлял плана урока и зависел от вдохновения. Гоголь не устанавливал связи событий, а стремился вызвать у своих учениц зримые представления о далеких временах. Он приносил на уроки картины, изображавшие пирамиды и сфинксов Древнего Египта, готические замки и соборы Европы. Лекции его были увлекательны. «Одна картина сменяла другую; едва дыша, следили мы за ним и не замечали того, что оратор в пылу рассказа драл перо, комкал и рвал тетрадь или опрокидывал чернильницу», – вспоминала бывшая воспитанница института (1; 748). Вдохновение часто покидало Гоголя. Тогда он появлялся в классе унылый, говорил вяло, нередко уходил до конца урока. Мог пропустить занятия, не объясняя причин. Даже его маленькие сестры это заметили. «Брат часто манкировал классы по болезни, иногда и от лени», – вспоминала Елизавета Васильевна (1; 180).

* Т. 10. Письмо 118.

Как же относилась начальница института к такому непредсказуемому и недисциплинированному учителю? Иногда она выражала неудовольствие. На это инспектор Плетнев отвечал: «Луиза Федоровна, дайте срок, он выровняется, и из него выйдет отличный учитель» (1; 748). Но Гоголь не «выровнялся». В апреле 1835-го он попросил отпуск на четыре месяца по болезни. Начальница института не была уверена в его возвращении. Уже в начале июля того же года приняли другого учителя. Гоголь был очень обижен, хотя, возможно, он и сам не вернулся бы. Все последующие годы он будет жить за границей, лишь на короткое время приезжая в Россию. Все-таки Гоголь с его перепадами настроения от вдохновения к унынию не был создан для профессии учителя. Она требует повседневного труда, терпения, бесконечного повторения пройденного. Гоголь «оставил по себе память какого-то блестящего метеора, осветившего небывалым, причудливым светом тихо, спокойно трудившееся заведение», – завершает свои записки выпускница института (1; 748).

Глава 5. Звени, мой колокольчик!

В истории о Гоголе и его сестрах не обойтись без дорожной темы. Гоголь любил дорогу. Она давала ему необходимое уединение, покой и душевное равновесие. Правда, он предпочитал путешествовать не по российским, а по европейским дорогам.

*Со временем...
дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.*

А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава VII, строфа XXXIII

«Лет чрез пятьсот», – добавляет поэт. Пока не пересекли, но ведь и пятисот лет не прошло. В гоголевские времена, кажется, никто не сказал доброго слова о российских дорогах. Как только их не проклинали! «До Ельца дороги ужасные, несколько раз коляска вязла в грязи» (А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум»). Александра Смирнова-Россет называла российскую дорожную грязь «мифологической». Дорога уравнивала всех. На ухабах переворачивались и дорогие экипажи, и деревенские брички. Летели в дорожную грязь холопы и благородные господа. Первое, что увидела Смирнова-Россет, въезжая в Калугу, была лежащая на боку карета ее мужа, калужского губернатора. Это в распутицу: весной, осенью, после дождя. А в хорошую погоду? Вот еще один гоголевский образ: «Петух перешел улицу, мягкую, как подушка, от пыли». Представьте, как взметнется эта пыль из-под копыт лошадей. Почтовые станции не предлагали усталым путникам удобств и отдыха. По ироническому утверждению князя П. А. Вяземского, «надо много философии и мужества», чтобы ночевать там (2; 337).

Несмотря на плохие дороги, в России всегда любили быструю езду. В любую погоду летели по дорогам русские тройки, спешили дилижансы. Дилижансы могли преодолеть путь от Петербурга до Москвы за три дня. В декабре 1839-го Гоголь и его сестры добирались от Петербурга до Москвы четыре дня. Анна и Лиза плохо переносили зимнюю дорогу, приходилось останавливаться, чтобы погреться и отдохнуть. Помещики обычно отправлялись в дорогу на своих лошадях. Удобнее, дешевле, хотя и медленнее. Лошадям нужен отдых.

*Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих.*

А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава VII, строфа XXXV

Примерно так добирались до Москвы в апреле 1840 года Мария Ивановна Гоголь с младшей дочерью Ольгой. «Наняли ямщика, погрузили в рогозовую кибитку домашние припасы, ехали более двух недель», – вспоминала Ольга Васильевна (1; 197). На обратный путь Гоголь нанял для матери, Анны и Ольги дилижанс, купил им в дорогу икры, сыра, копченостей и вкуснейших московских калачей. До Васильевки дилижансы не ходили. Мария Ивановна с дочерьми остановились в Харькове, у знакомых, и дожидались лошадей из дома.

На почтовых станциях очередность и количество лошадей, которых можно было нанять, определялись чином проезжающих. Гоголь вышел из нежинской гимназии коллежским регистратором, то есть имел самый низший чин в Табели о рангах (14-й). В департаменте уделов он прослужил менее года. Летом 1832-го его служба в Патриотическом институте только начиналась. А потому на почтовых станциях у него не было никаких привилегий. Но в дороге с Гоголем случалось нечто удивительное.

28 мая 1842 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщала о приезде из Москвы профессора Гоголя (2; 164). 24 марта 1846 года в Риме профессору Гоголю был выдан паспорт на проезд в Неаполь и обратно (3; 591). Но Гоголь никогда не был профессором. Некоторое время он читал в Санкт-Петербургском университете лекции по истории Средних веков для студентов второго курса филологического отделения. В документах и расписании он числился адъюнкт-профессором. Но он не мог претендовать и на это звание, так как не окончил университета и не представил научных работ. В документах и подорожных Гоголь с конца 1830-х числился коллежским асессором, то есть чиновником 8-го класса. Подорожная на проезд из Одессы до Москвы выдана 26 марта 1851 года «коллежскому асессору Николаю Гоголю... давать по четыре лошади с проводником» (3; 794). Из опубликованных документов нельзя понять, как и когда совершил Гоголь этот карьерный прыжок – из 14-го класса в 8-й. В аттестате, выданном Гоголю Санкт-Петербургским университетом 14 мая 1836 года, он назван чиновником 8-го класса, но из приведенного в этом документе послужного списка не ясно, когда и за какие заслуги этот чин получил (1; 799).

Мемуарист П. В. Анненков*, отвечая в 1876 году на вопросы издателя М. М. Стасюевича**, утверждал, что Гоголь «подчистил на подорожной предикат “регистратор” и заместил его другим “асессор”», и случилось это еще до получения должности адъюнкт-профессора (3; 37). Заподозрить классика в подделке документов?! Кажется, никто этого дерзкого и скандального заявления П. В. Анненкова не подтвердил, но и не опровергнул.

В подделке подорожной еще можно усмотреть выгоду, но обычно шутки Гоголя были бескорыстны. В мае 1842 года Гоголь уезжал из Москвы. Тогда проверка паспортов и осмотр вещей проводились не только на границе, но и при въезде и выезде из города. Аксаковы и Н. Н. Шереметева поехали проводить Гоголя до городской заставы. Там и случилось происшествие, которое Анна Васильевна Гоголь назвала «забавным». Надежда Николаевна

* Павел Васильевич Анненков (1813–1887), мемуарист.

** Михаил Матвеевич Стасюевич (1826–1911), издатель, редактор, историк и публицист.

обняла и перекрестила Гоголя. Простились с ним и Аксаковы. В этот момент у них потребовали документы. Кто же все-таки уезжает? И тогда Гоголь крикнул: «Вот эта старушка!» Потом «погнал лошадей и скрылся, оставив Шереметеву в большом затруднении» (1; 163).

Как-то Гоголь решил доказать, что он может путешествовать по Европе без паспорта. Когда на границе требовалось предъявить документы, Гоголь брал на себя хлопоты собрать паспорта пассажиров дилижанса и передать их таможенным чиновникам. Свой паспорт оставлял в кармане. Когда паспорта с пометками возвращали, Гоголь разыгрывал целый спектакль: «А где же мой паспорт?» Перед ним извинялись и отпускали. «Я (С. Т. Аксаков. – *Н. А.*) и другие видели его паспорт, возвратившийся из-за границы почти белым» (2; 661). В гоголевские времена не было единой Германии, единой Италии. Эти страны были разделены на королевства, великие герцогства, герцогства, вольные города, поэтому пометок в паспортах путешественников было множество. Склонность к розыгрышам и мистификациям была свойственна артистической натуре Гоголя. «Он был не лгун, а выдумщик», – комментировал подобные истории С. Т. Аксаков (2; 660).

Но вернемся в июль 1832 года, когда Гоголь, получив отпуск в Патриотическом институте, отправился в долгий путь домой. С дороги он писал историку Михаилу Петровичу Погодину 8 июля 1832 года, что сидит на почтовой станции в ожидании лошадей. Правда, ему предлагали лошадей «за пятерные прогоны», исключительно «по доброте». Гоголь на предложение вымогателей не согласился, коротал время «за Ричардсоновой “Клариссой”»*.

А вот свою писательскую копилку он пополнил. Через несколько лет в «Мертвых душах» появятся строки: кузнецы «смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро». Гоголь дождется лошадей и продолжит путь в родную Васильевку, чтобы повидаться с семьей и увезти сестер Анну и Лизу в Петербург.

Глава 6. Неразлучные (Анна и Лиза)

Анна родилась в 1821-м, Лиза – в 1823-м. Они вместе играли, учились, выросли и не представляли, что когда-нибудь могут расстаться. Старшая по возрасту Анна всегда была выше ростом, отличалась сильным характером. Естественно, что она взяла Лизу под защиту. Опекаемая, оберегаемая Лиза на всю жизнь сохранила черты избалованного ребенка. Таково было мнение современников, знавших Елизавету Васильевну замужней дамой.

Гоголь в письмах домой просил держать сестер подальше от девичьей. Считал девичью средоточием сплетен и предрассудков. Но именно дворцовые имели на девочек заметное влияние. Лиза не любила мать и даже побаивалась. Зато к няне своей, Варваре Семеновне, была сильно привязана. Когда сестры уезжали учиться в Петербург, самым тяжелым было для Лизы расставание с няней. «...В Институте, когда нужно было слез, а их не было, то вспомнишь только было прощание с Варичкой, как тут они являлись», – вспоминала Елизавета Васильевна (1; 179).

Няня Варвара была мастерицей, шила для Лизы тряпичных укол. Хотя в доме были дорогие игрушки от богатых родственников Трошинских, девочки любили играть с этими тряпичными куклами. Анна и Лиза часто оставались без присмотра. То играли у пруда, очень глубокого, то забрасывали

* Т. 10. Письмо 141.

камни на крышу. Один из камней скатился и попал Лизе в голову. Рану перевязали, но Лиза долго жаловалась на головную боль. Праздником для сестер были приезды брата. Он всегда привозил лакомства: орехи и сливы в сахаре, столичные конфеты. Все это было упаковано в красивые коробочки. Николай Васильевич любил играть с сестрами, смешил их, забавлял. Маленькую Лизу он усаживал верхом на большую собаку. Анну причесывал а *la chinoise* (по-китайски). Едва приехав в родной дом, Гоголь брался за работу. Он расписывал стены и потолок цветами, рисовал план перестройки дома по европейской моде. Мечтательный, кажется, далекий от реальной жизни, он с ранних лет очень ловко работал руками. «Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены. <...> И много чего уже разумею из поваренного искусства»*, – писал он Петру Косяровскому. Гоголь вязал шарфы, кроил занавески и даже платья для сестер. На эту страсть Гоголя к рукоделию обратил внимание мемуарист П. В. Анненков. Он вспоминал, что «часто заставлял Николая Васильевича перед столом с ножницами в глубокой задумчивости» (3; 450).

В июле 1832 года в доме Гоголей готовили Анну и Лизу в дальнюю дорогу. Мария Ивановна предложила камердинеру Гоголя Якиму жениться на горничной Матрене. Он не отказался, хотя и проявил полное равнодушие. Мария Ивановна была очень довольна, что все устроилось «экономно и по-семейному». Матрена была и нянькой, и прачкой, а слуга Яким оказался еще и хорошим поваром.

Ехали долго. Три дня провели в Москве. В Петербург прибыли в первых числах ноября. Девочки уже видели Полтаву и, проездом, другие города, поэтому Москва усадебная, утопающая в садах, не поразила их так, как Петербург. Прямые и широкие проспекты, каналы, высокие каменные дома. Квартиру сняли в Новом переулке, в доме Демут-Малиновского, близ Мойки. Рядом располагалась школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, куда осенью того же года поступил Лермонтов.

Николай Васильевич занимался с девочками историей, географией, русской грамматикой. По вечерам принимал гостей. Девочки не выходили из своей комнаты, но подглядывали в окно, которое выходило в прихожую.

Анна и Лиза побывали с братом в театре. Это мог быть Александринский театр. Александринский – императорский театр и вместе с тем общедоступный. Кресла и ложи – для знати. Скамьи внизу, верхний ярус и галерка – для зрителей других сословий. На сцене обычно ставили водевили с роскошными декорациями и эффектными костюмами актеров. Не только спектакль, но и само великолепное здание театра, ярко освещенный зал, нарядные дамы в ложах произвели сильное впечатление на провинциальных девочек. «Шумною и довольною толпой зрители спускались по извилистым лестницам. <...> Внизу раздавался крик жандармов и лакеев; дамы, закутавшись и прижавшись к стенам и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенок от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду – и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стуча одни саблями и шпорами, другие калошами» (М. Ю. Лермонтов, «Княгиня Лиговская»). В этой суматохе извозчик, нанятый Гоголем, уехал и увез зеленые капоры девочек. Пришлось покупать новые. Опять одинаковые, но другого цвета – розовые.

Наконец наступил день приема в институт. Матрена под руководством Гоголя завивала еще сонных девочек, потом на них надели драдедамовые платья шоколадного цвета. Такими они предстали перед начальницей ин-

* 8 сентября 1828 года. Т. 10. Письмо 81.

ститута Л. Ф. Вистингаузен. Она привела девочек в класс и отрекомендовала: сестры Гоголя. Девочки были очень смущены. На уроках Гоголя они всегда чувствовали неловкость, отказывались отвечать и, кажется, вздохнули с облегчением, когда он покинул институт.

Гоголь резко менял мнение о способностях сестер. Еще несколько лет назад он с восхищением писал об успехах Анны: «Я предрекаю, что это удивительное дитя будет гений, какого не выдвигали»*. Теперь, сравнивая сестер с другими воспитанницами, Гоголь с огорчением писал матери, что Анна и Лиза не отличаются способностями, диковаты, необщительны, провинциальны. Им надо догонять остальных. К тому же девочки прибыли в институт раньше нового набора, поэтому первые полгода они мало учились, больше просто играли. В результате сестры пробыли в институте семь лет вместо шести.

Гоголь постоянно жаловался на скверный климат не только Петербурга, но и средней России. Мелко морозящий дождь вызывал у него приступы тоски. Анна и Лиза тоже сменили мягкий климат Полтавской губернии на сырой и холодный Петербург. Надо еще учесть, что со времен Екатерины II и Ивана Бецкого, реформаторов образования, большое внимание уделялось закаливанию воспитанников и воспитанниц. Александра Смирнова-Россет вспоминала, как в Екатерининском институте они разбивали молоточком ледяную корку и умывались этой водой. После проветривания, по ее словам, температура в классах была около 13 градусов по Реомюру, то есть не более 16 градусов по Цельсию. Очевидно, так было и в Патриотическом институте. Но сестры никогда не жаловались на холод и простуды, что подтверждал и Гоголь. «Дети, слава Богу, здоровы и, кажется, никакого влияния не произвел на них климат»**.

Есть множество свидетельств о плохом питании в казенных учебных заведениях. Как-то на балу бывшая воспитанница Смольного рассказала об этом Николаю I. Он не поверил, но неожиданно явился на кухню Смольного с проверкой и убедился в правоте институтки. Смирнова-Россет вспоминала, что в Екатерининском институте их кормили скверным супом и пирогом из серой муки с начинкой из моркови. Впрочем, «хлеба всегда было много, и мы делали тюрю, были сыты и здоровы»***. Как было в Патриотическом институте, можно судить по немногим довольно скудным сведениям. «Мы вставали, молились, пили сбитень или молоко, шли в классы, обедали, играли, опять шли в классы, полдничали ржаным хлебом с квасом», – вспоминала выпускница института (1; 744). После разнообразной и сытной украинской кухни казенная еда должна была показаться сестрам очень скудной, но они никогда не жаловались. Лиза, правда, вспоминала, что в институте не пили чай и молоко. Оно ей казалось слишком синим. Но объясняла тем, что была слишком прихотлива.

Гоголь регулярно писал матери о повседневной жизни, здоровье и успехах сестер. «Лиза уже совсем перестала упрячиться, Анна тоже расположена учиться»****. «Одно только меня смущает, это характер Лизы. За нею не водится больших шалостей, капризов. Это все из нее вывели. На нее не жалуются, ею бывают даже иногда довольны»****. Интересно сравнить это письмо с воспоминаниями Елизаветы Васильевны. «Жизнь в институте довольно приятна и легка, дамы классные нас любили» (1; 181). Сестер, по их же вос-

* Т. 10. Письмо 89.

** Т. 10. Письмо 163.

*** Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989. С. 147–148.

**** Май 1833 года. Т. 10. Письмо 169.

***** Октябрь 1833 года. Т. 10. Письмо 180.

поминаниям, не наказывали. Или это были незначительные наказания. Лиза боялась начальницу института, но это был чисто иррациональный страх. Никогда Луиза Федоровна ни Лизу, ни Анну не наказывала. Какие же опытные педагоги служили в Патриотическом институте, если Лиза даже не заметила, как «вывели» ее дурные привычки.

Один из принципов организации обучения в институте – изоляция от среды. Он заложен еще Екатериной II и Бецким и восходит к идеям Просвещения. Весь период обучения воспитанницы не покидают институт. Их могут навещать родственники. За семь лет Мария Ивановна Гоголь ни разу не приехала навестить дочерей. Конечно, дорога дальняя и трудная. И все-таки.

Когда Гоголь покинул институт и уехал за границу, он просил друзей, Данилевского и Прокоповича, навещать девочек. Гоголь писал из Рима 3 июня 1837 года Николаю Прокоповичу: «Пожалуйста, побывай в институте, наведайся к моим сестрам... не нуждаются ли они в чем... они, бедненькие, я думаю, скучают»*. Прокоповичу это было несложно: он жил на Васильевском острове, на девятой линии. Но Анна и Лиза, кажется, не скучали. После родного дома, который уже взрослая Анна Васильевна назовет «безалаберным», жизнь по расписанию благотворно влияла на здоровье и характеры девочек. «Я довольно счастлива была в институте, особенно последнее время, со всеми помирилась, и мне легко было на душе», – вспоминала Елизавета Васильевна (1; 181).

Как и старшая из сестер Маша, Лиза проявляла интерес к литературному творчеству. У нее была толстая тетрадь собственных сочинений «Комедии и сказки». Позднее Елизавета Васильевна оставит воспоминания о себе и семье Гоголей. Лиза подружилась с одной из классных дам – М. А. Мелентьевой, часто бывала у нее в комнате, делала там уроки, угощала конфетами. Гоголь в письмах часто упоминает Мелентьеву, называет ее «доброй» и «милой».

За семь лет Патриотический институт стал для сестер родным домом. Когда они вышли из института и около месяца оставались в Петербурге, то побывали в институте четырнадцать раз.

Глава 7. «Но грустно думать, что напрасно...» (после выпуска)

Покинув институт, Гоголь не забывал о сестрах и писал им письма. С пониманием детской психологии он увлекательно рассказывал в них о путешествии на пароходе, о немецких городах, о праздниках в Риме. Сестры выросли, менялся характер писем и подарки. В апреле 1839-го Гоголь прислал сестрам из Рима по кольцу и булавке, сопроводив любопытным письмом. «Глядите на них больше, чем просто на кольца и булавки... к ним прижалась, прицепилась и прилетела вместе с ними часть моих чувств и любви моей к вам. Как эти кольца сожмут и охватят пальцы ваши, так сжимает и обхватывает вас любовь моя. Как эта булавка застегивает на груди вашей козынку, так хотел бы я вас хранительно застегнуть и оградить, и укрыть от всего, что только есть горького и неприятного на свете»**. Правда, знакомый слог? Ну конечно, монолог Хлестакова: «Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку». Сам Гоголь как-то признался Льву Арнольди***, что «большую часть своих пороков и слабостей

* Т. II. Письмо 46.

** Апрель 1839 года. Т. II. Письмо 105.

*** Лев Иванович Арнольди (1822–1860), сводный брат А. О. Смирновой-Россет. Чиновник по особым поручениям при калужском губернаторе, позднее – вице-губернатор.

он передавал своим героям, осмеивая их в своих повестях, и таким образом избавлялся от них навсегда» (2; 383). Но «Ревизор» написан раньше письма сестрам. И это не единственный случай, когда автор вдруг начинает говорить языком своих героев.

В январе 1840-го должен был состояться выпуск в Патриотическом институте. Гоголь решил забрать сестер на месяц раньше, о чем сообщил матери: «Я не хочу, чтобы они дожидались этой кукольной комедии... немного есть, чем бы щегольнуть при публике»*. А еще раньше, в сентябре 1839-го, он писал сестрам: «Знаете ли, какую жертву для вас делаю»**.

Гоголю очень не хотелось ехать в Россию, да еще зимой. Кроме того, нужны были деньги на платья, шляпки, теплую зимнюю одежду и множество мелочей, необходимых девицам, которые семь лет жили за казенный счет.

Гоголь хотел, чтобы сестры были модно одеты. Сам он с юности стремился следовать моде. 26 июня 1827 года восемнадцатилетний Гоголь писал из Нежина в Петербург своему приятелю Высоцкому: «Какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны... какой-то у вас модный цвет на фраки. Мне бы очень хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами»***. В первые годы жизни в Петербурге Гоголь удивлял столичных знакомых пестротой костюма. Со временем он стал одеваться строже, хотя иногда позволял себе экстравагантные наряды. Светло-голубой жилет Гоголя в сочетании с малиновыми панталонами Смирнова-Россет называла «малина со сливками» (2; 256). Пожалуй, только к жилетам разных цветов и материй Николай Васильевич сохранил любовь на всю жизнь. Чтобы одеть сестер и переехать с ними в Москву, ему нужно было 4000 рублей. Гоголь надеялся на помощь друзей и меценатов. «Может быть, государыня, на счет которой они воспитывались, что-нибудь стряхнет на них от благотельной руки своей», – делился он надеждами с В. А. Жуковским в ноябре 1839 года****.

До отъезда в Москву Анна и Лиза жили в доме генерала П. И. Балабина***** на Английской набережной. Когда-то Гоголь был учителем младшей дочери Балабиных, Марии*****. С ней Анна и Лиза быстро подружились. С хозяевами и гостями дома они чувствовали себя неловко. Сестры были болезненно-застенчивы, а потому за столом почти ничего не ели и страдали от голода.

Пришла пора покинуть Петербург. По гладкой зимней дороге добрались до Москвы. Остановились в доме профессора-историка М. П. Погодина***** на Девичьем поле. Зная любовь Гоголя к солнцу и теплу, ему отвели самую светлую комнату с двумя окнами и балконом. Помещалась она на высоком втором этаже над громадным залом. Солнце заливало ее с рассвета и до середины дня. Сестры поселились в комнате напротив, тоже очень светлой, с большим итальянским окном в сад. Выйдя в коридор, они через стеклянный купол могли видеть зал. «Замечательная зала у Погодина: громадная, круглая, наверху купол, кругом решетки, с одной комнаты в другую переходили по той решетке, страшно было смотреть вниз. Половина этой залы, от пола до верха, завалена старинными бумагами», – вспоминала Ольга (1; 198).

* 24 октября 1839 года. Т. II. Письмо 134.

** Т. II. Письмо 124.

*** Т. II. Письмо 59.

**** Т. II. Письмо 116.

***** Петр Иванович Балабин (1876–1855), жандармский генерал.

***** Мария Петровна Балабина (1820–1901), в замужестве Вагнер.

***** Михаил Петрович Погодин (1800–1885), известный историк, профессор Московского университета, академик Императорской академии наук (с 1841-го).

Погодины, как и Аксаковы, старались предупредить каждое желание писателя. Только Аграфена Михайловна, мать профессора, не разделяла всеобщего обожания, могла возразить Гоголю, даже сделать замечание. У Николая Васильевича была привычка быстро проходить по комнатам, с шумом распаивая двери. Потоки воздуха даже гасили свечи. Тогда Аграфена Михайловна кричала горничной: «Груша, а Груша, подай-ка теплый платок, тальянец (так она называла Гоголя, приехавшего из Италии. – *Н. А.*) столько ветру напустил, так страсть!» (2; 526).

По утрам Гоголь вязал шарфы и ермолки, чем очень удивлял маленьких детей профессора. Потом он писал за конторкой. Праздности Гоголь себе не позволял. Того же требовал от сестер. Анна и Лиза должны были вышивать или заниматься переводами. Какое-то время он очень надеялся приобщить их к литературной работе. Они переводили с немецкого и французского, но заметных успехов не добились. Гоголь заботился о духовном здоровье сестер и попросил архимандрита Макария* наставить их на путь истинный. Сестрам не хотелось слушать проповеди, но пришлось подчиниться. Надо было сидеть, склонив головы, и повторять «Помилуй мя, Боже!». Иногда Макарий погружался в свои мысли и даже дремал. Сестры осторожно поднимали головы, переглядывались, смеялись. Однажды у них так заболели виски и затылки, что они расплакались. Анна и особенно Лиза плакали часто и легко. На этот раз Макарий «приписал их слезы умилению и везде об этом рассказывал», – вспоминала Елизавета Васильевна (1; 184).

Гоголь возил сестер в театр и на литературные вечера к Аксаковым, Хомяковым, Елагиным. Мнение столичных литераторов о сестрах Гоголя было единодушным и совсем не лестным для них. «Это были такие дикарки, каких и вообразить нельзя... в новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, отчего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали», – писал С. Т. Аксаков (2; 684). Дочь Аксакова Вера объясняла это оторванным от жизни институтским воспитанием: «Боже мой, что за понятия, что за мир, в котором они живут, что за дети!» (2; 806). Профессор Погодин в дневнике высокомерно и грубо записал: «Какие деревяшки Гоголевы сестры» (2; 472). Обидно и несправедливо. Анна и Лиза были умнее, наблюдательнее, образованнее, чем казались. А виною была их болезненная застенчивость. Они видели отношение окружающих, страдали, но не могли ничего изменить. «Наша мучительная застенчивость, вероятно, сильно смахивала на глупость», – вспоминала позднее Анна Васильевна (1; 167).

Сестры уставали от постоянного напряжения и только в комнате Аграфены Михайловны чувствовали себя легко и свободно. Она пристрастила сестер к игре в карты. Азарт карточной игры заразителен. Карты – источник многих жизненных драм и литературных сюжетов. Карты доводят до безумия Германна (А. С. Пушкин, «Пиковая дама»), до отчаяния – Николая Ростова (Л. Н. Толстой, «Война и мир»). В жизни случались совершенно фантастические проигрыши. В 1802 году князь Александр Николаевич Голицын проиграл в карты графу Льву Кирилловичу Разумовскому свою жену, Марию Гавриловну. Это случилось задолго до появления поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша».

Но были и другие карты. Приятное времяпрепровождение. Игра скрашивала долгие зимние вечера. «Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить,

* Архимандрит Макарий Алтайский (Глухарев) (1792–1847). Известный миссионер и выдающийся переводчик Священного Писания на русский язык.

поиграть по пяти копеек в бостон» (А.С. Пушкин, «Метель»). Помещица Анна Федоровна Зайцева играла с братом «по полкопейки» (Л.Н. Толстой, «Два гусара»). У сестер и этих копеек не было. Они играли исключительно для удовольствия. Однажды их застал за картами профессор Погодин. Он был разгневан, стыдил мать. Сестры были страшно смущены.

В апреле 1840-го в Москву приехали Мария Ивановна Гоголь и ее младшая дочь Ольга. Мария Ивановна решила все-таки на трудное путешествие, чтобы забрать домой Анну и Лизу и повидать сына. Николай Васильевич не хотел, чтобы сестры возвращались в Васильевку. Надеялся, что в Москве у них больше возможностей найти состоятельных женихов. Но оказалось, что его друзья и знакомые не могут принять в дом сестер писателя хотя бы на год. «Гоголь просит меня взять его бедненьких сестер, а мне некуда... необходимость отказать ему и себе в счастье быть бедным Гоголицам полезной огорчает меня неизъяснимо», – писала Авдотья Петровна Елагина* Василию Андреевичу Жуковскому 17 февраля 1840-го (2; 131). В начале мая 1840-го Мария Ивановна, Анна и Ольга уехали. Лизу удалось пристроить в дом добродетельной, очень религиозной вдовы Прасковьи Ивановны Раевской. Это было настоящее женское царство: двоюродная сестра хозяйки, племянница, гувернантки и приживалки. Через два года Лиза вернулась в Васильевку. Гоголь мечтал устроить жизнь сестер в Петербурге или Москве, они тоже надеялись на счастливое замужество. Не сбылось. Анна и Лиза возвратились домой, и возвращение их не было радостным.

Глава 8. «Он слишком высоко стоял над нами»

Вслед за Анной Васильевной Гоголь эти слова (1; 167) могли бы повторить многие современники писателя.

«Русь! Чего же ты хочешь от меня? <...> Что глядишь ты так и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» Известные строки из «Мертвых душ» вовсе не поэтическое преувеличение. Гоголь к сороковым годам уверовал в свою великую миссию быть не только писателем, но и учителем, наставником русского общества, едва ли не пророком.

Даже в манерах Гоголя стала заметна несколько театральная значительность. Казалось, что он обращается к своим слушателям с недосыгаемой высоты. Гоголь «играет роль углубленного в думы человека», ходит в аристократические дома, а там «с подобострастием слушают его молчание», писал из Рима граф Толстой**.

«Я (Николай Некрасов. – *Н. А.*), Белинский, Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться. <...> Гоголь и принял нас, как начальник принимает подчиненных» (3; 643). С тех же высот Гоголь обращался к актерам Александринского театра. «Хорошо, Мартынов, я доволен. <...> Вы (актриса Вера Самойлова. – *Н. А.*) и Мартынов помирили меня с русской сценой» (3; 641). «Никогда так свысока не хвалил нас и государь!» – вспоминала Вера Васильевна Самойлова (3; 641).

У Гоголя была привычка скатывать из хлеба шарики. Как-то он наполнил ими бокал и протянул сидящей рядом с ним за столом даме: «В этих шариках много моих мыслей» (2; 540). Это уже похоже на манию величия.

* Авдотья Петровна Елагина (1789–1877), в первом браке Киреевская, мать братьев Ивана и Петра Киреевских.

** Федор Петрович Толстой (1783–1873), вице-президент Академии художеств.

Раньше других и очень болезненно почувствовали, как изменился Гоголь, его сестры. Летом 1842 года четыре сестры снова оказались в Васильевке, но долгая разлука сделала их чужими. Когда девочки Анна и Лиза уезжали в Петербург, Мария уже вышла замуж. Вернулись взрослые барышни. Анна почти через восемь лет, Лиза почти через десять. Ольга была на четырнадцать лет моложе Марии, называла ее на «вы» и не могла быть подругой. Ольга была очень одинока. Анна и Лиза бойко болтали по-французски, а до нее долетали лишь отдельные слова. Она была глуховата.

Сестры много лет переписывались с братом, но неожиданно стали получать от него очень странные письма. Иногда им казалось, что пишет какой-то незнакомый и очень строгий человек, совсем не похожий на их доброго и веселого брата. «Письма его вечно полны наставлений и выговоров... даже со страхом мы распечатываем письмо, и почти никогда не обманывает нас предчувствие; нет, он теперь совсем переменялся», – писала Лиза Вере Аксаковой 10 декабря 1845 года (1; 175).

Гоголь был неумолим, не знал снисхождения, требовал, чтобы с одного, очень важного, письма каждая из сестер сняла копию и перечитывала. «Прочитавши один раз письмо это, пусть не думает никто, что он уже понял его совершенно. Нет, пусть дождется более душевной минуты, прочтет и перечтет его! Всего лучше пусть каждая прочтет его во время говенья, за несколько часов перед исповедью, когда уясняются лучше наши очи»*.

Гоголь требовал, чтобы веселая и лукавая Лиза перестала кокетничать, а на мужчину смотрела только как на брата. Анна должна была преодолеть лень, а для этого учить греческий язык и обливаться холодной водой. Анна не понимала, зачем ей это и с кем она будет говорить по-гречески. Гоголь дал сестрам задание описать каждый дом в Васильевке. Вопросов следовало задать множество. Мужа расспросить о жене, жену – о муже. Соседей – об этой семье. Потом составить подробный отчет «и Боже вас сохрани наврать что-нибудь от себя», предупреждал Гоголь**. «Издали буду управляться лучше вас»***, – самонадеянно заявлял Гоголь.

Теперь Гоголь уже не хотел, чтобы сестры выходили замуж. Они должны были устроить в Васильевке что-то «вроде монастыря или странноприимного дома» (1; 151). Они не должны принадлежать себе, но всем претерпевшим несчастья. Пусть все страждущие найдут утешение в их доме. Ольга горячо поддержала брата. Но Анна и Лиза не собирались утешать страждущих. Они хотели просто жить. Пользовались каждой возможностью поехать в гости в Полтаву, в Сорочинцы, особенно ждали Рождества. Шумная компания переезжала от одних помещиков к другим. Устраивали танцы и маскарады. Лиза обычно наряжалась цыганкой. Анна надевала тирольский костюм, Ольга – русский. С танцами было сложнее. «Замечательно, какая бедность у нас была на кавалеров, даже стариков мало. Решительно все соседи – вдовы с дочерьми», – вспоминала Ольга (1; 201).

Событием были приезды в Васильевку генерал-майора Андрея Трошинского****, двоюродного брата Марии Ивановны. По воспоминаниям Ольги Гоголь, он приезжал «всегда с шиком» (1; 200). Сложился особый ритуал. Сначала верховой сообщает, что через два дня придет генерал. На другой день верховой напоминает, что завтра к обеду... На третий день верховой преду-

* Март-апрель 1843 года. Т. 12. Письмо 119.

** Январь-май 1844 года. Т. 12. Письмо 190.

*** Январь-май 1844 года. Т. 12. Письмо 190.

**** Андрей Андреевич Трошинский (1774–1852), генерал-майор, участник сражения при Фриланде. С 1811-го в отставке по болезни.

преждает, что генерал едет. Мария Ивановна и дочери уже на крыльце ждут. Появляется еще один верховой, за ним карета с двумя форейторами. Два лакея открывают дверцы. Выходит высокий тоненький подросток четырнадцати лет – Дмитрий Андреевич. И только потом два лакея высаживают седого старичка (1; 200). Но генерал старел, болел. Его мучила подагра. Последние годы он уже не покидал свое имение Кагарлык под Киевом и приглашал Анну и Лизу приехать. Они гостили в доме генерала всю зиму 1850 года и очень скучали. Все изменилось, когда в Кагарлык прибыл саперный полк.

Глава 9. «И им сулили каждый год мужьев военных и поход» (замужество Лизы)

В гоголевские времена на некоторых зданиях можно было видеть табличку «Свободен от постоя», то есть от размещения военных.

*Я в доме у вас не нарушу покоя.
Смирнее меня не найти из полка.
Но если свободен ваш дом от постоя,
То нет ли хоть в сердце у вас уголка.*

Так пелось в старинном романсе. Приход военных сулил большие неудобства хозяевам, но девицам на выданье давал надежду найти жениха. Генерал Трошинский охотно принимал военных. Когда в Кагарлыке разместили саперный полк, в доме генерала каждый вечер собирались офицеры. Анна и Лиза, проводившие зиму у своего богатого родственника, принимали гостей на правах хозяек. Анна научилась преодолевать свою застенчивость. Со стороны ее поведение могло показаться слишком свободным и раскованным для девицы. Она громко смеялась и даже играла с офицерами в карты. Лиза скромно сидела рядом, иногда позволяла себе игру в шашки. Сестрам нравился капитан Владимир Быков. Лиза была уверена, что он ухаживает за Анной. С ней он оживленно переговаривался во время карточной игры. Каково же было удивление Лизы, когда во время игры в шашки Быков сделал ей предложение.

Гоголь принял известие о предстоящей свадьбе Лизы как приближение беды, пытался удержать сестру от роковой ошибки. «Шаг твой страшен: он ведет тебя либо к счастью, либо в пропасть»*. Он призывал Лизу отправиться в Диканьку, припасть к иконе Николая Чудотворца, молиться. Сестры Анна и Ольга должны были к ней присоединиться. В Диканьку следовало идти пешком (25 верст!).

Было время, когда Гоголь хотел выдать сестер замуж. Между тем с годами усиливался его иррациональный страх перед браком, который, по мысли Гоголя, несет опасность не только отдельному человеку, но и государству. Необходимость содержать детей и расточительных жен толкает порядочных людей на преступления, делает их ворами и грабителями. «Россия наполнилась разоряющими ее чиновниками»**, – писал Гоголь матери 5 июня 1851 года.

Чудачества и страхи жениха в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» доведены до абсурда. «Жить с женою! Непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть всегда двое! Пот проступал у него на лице, по мере того, чем более углублялся он в размышления». Три восклицания

* После 22 мая 1851 года. Т. 14. Письмо 223.

** Т. 14. Письмо 224.

цательных знака в коротком тексте показывают, как велики напряжение и тревога. За исключением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода», в сочинениях Гоголя почти нет любовных сюжетов.

*Коляска на бок. – «Филька, Васька!
Кто там? скорей! вон там коляска.
Сей час везти ее на двор
И барина просить обедать!
Да жив ли он?»*

Графа Нулина встречает очаровательная Наталья Павловна. Чичикова в той же самой ситуации – немолодая вдова Настасья Петровна Коробочка, недоверчивая, туповатая и расчетливая одновременно. Какая уж тут любовь!

Бегство от любви – повторяющийся гоголевский мотив. Подколесин даже в окно выпрыгивает накануне венчания. А как же сам Гоголь? Была ли в его жизни любовь к женщине? Эту загадку биографы писателя так и не разгадали. 24 июля 1829 года Гоголь пишет почти безумное письмо: «Маменька, дражайшая маменька! Я знаю, вы один истинный друг мне... одним вам я только могу сказать... нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение – не кстати для нее. Это – божество, но облаченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание, в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния, жгучего проходящего насквозь всего не вынесет ни один из человеков. <...> Адская тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была. <...> В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только взглядом, только одного взгляда алкал я. <...> Но, ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока!»*.

Кто же эта роковая для Гоголя женщина? И каково в этом письме соотношение реальности и фантазии? Больной фантазии! Скорее всего, тень этой женщины мелькнула в письме Гоголя к Александру Данилевскому 10 марта 1832 года: «Повелительница моего южного сердца томительнее и блистательнее твоей кавказской»**. В этом письме нет уже экзальтации, но ведь и прошло почти три года. А тогда, в июле 1829-го, Гоголь покинул Петербург, уехал в Германию. В недавно вышедшей книге высказано предположение, что речь идет о Смирновой-Россет: «Возможно, что влюбленный Н. В. Гоголь даже ревновал Смирнову к Лермонтову»***. С этим аргументом даже спорить нелепо. Лермонтову в июле 1829 года еще не исполнилось 15 лет. Смирнова и Лермонтов познакомятся только в конце 1830-х.

О влюбленности Гоголя в Смирнову писали еще в XIX веке. Но что это была за влюбленность? Между Гоголем и Смирновой не было страсти, тем более страсти разрушительной. Гоголь не мог написать о Смирновой «она слишком высока». Это было общение равных, они понимали друг друга, много шутили, смеялись. Их связывала не любовь, но нечто большее, чем любовь, – родство душ. «Гоголь радостный, счастливый ее присутствием... казалось, лучи шли

* Т. 10. Письмо 89.

** Т. 10. Письмо 129.

*** Смирнова И. А. Александра Смирнова-Россет в русской литературе XIX века. СПб.: Алетейя, 2021. С. 464.

от него, так он был светел. Межу ними как бы устанавливалась постоянная гармония и понимание», – писал Константин Аксаков (2; 799).

Биографы не нашли серьезных увлечений и даже легких влюбленностей Гоголя. Было, правда, странное сватовство писателя к Анне Михайловне Виельгорской*. Его даже трудно назвать сватовством. Гоголь через Алексея Веневитинова, женатого на старшей дочери Виельгорских, попытался выяснить, как это будет воспринято. Ему дали понять, что сватовство совершенно невозможно (2; 77). Луиза Карловна и Михаил Юрьевич Виельгорские**, принадлежавшие к аристократическому кругу, были неприятно удивлены, не понимали, как подобная мысль могла прийти Гоголю. Дворянин, к тому же известный писатель, он все-таки не мог претендовать на родство с аристократами. Анна Васильевна Гоголь категорически отрицала саму возможность сватовства: «Он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни... довольно прочесть переписку брата с Виельгорской» (1; 156). Но именно письма Гоголя к Анне Михайловне позволяют допустить, что сватовство было. При этом будущий союз виделся Гоголю очень своеобразно. Возможно, было поклонение. «Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего» (2; 77). Но прежде всего было желание стать духовным наставником молодой женщины. «Бросьте всякие, даже малые выезды в свет: вы видите, что свет вам ничего не доставил. Вы искали в нем душу, способную отвечать вашей, думали найти человека, с которым об руку хотели пройти жизнь, и нашли мелочь и пошлость» (2; 77).

На свадьбу Лизы Гоголь так и не приехал. Он уже отправился в путь, но вернулся. Николай Васильевич объяснял потом, что почувствовал себя плохо, но, может быть, ему помешал иррациональный страх. Гоголь прислал Лизе в подарок четырехместную коляску и дорожный портфель, в нем были принадлежности для письма: бумага, чернильные перья (1; 215).

Лиза почти тридцать лет прожила в тепличных условиях. И в институте, где все решали за нее, и в родном доме, где у нее не было никаких обязанностей. Теперь для Лизы, по-прежнему похожей на избалованного ребенка, начиналась трудная жизнь офицерской жены. С частыми переездами, сменной квартир, долгами разлуками с мужем, когда этого требовала служба. «Поход! <...> Перемена квартир – эпоха в военной жизни. <...> Месяца за два начинаются приготовления, и вот настает долгожданная минута, трубачи... дают сигнал, конные строи трогаются, затягивают удалую песню и с Богом выступают на широкий путь! Привалы, обеды, ночлеги, дневки следуют длинной чередой» (Е. А. Ган, «Суд света»). Повесть Елены Ган, известной писательницы и офицерской жены, была впервые опубликована в журнале «Библиотека для чтения» в 1840 году. Но и через десять лет походная жизнь для семей военных не стала легче.

В 1862 году подполковник Владимир Иванович Быков, командир саперного батальона в Тифлисе, получил назначение в Гура-Кальварию близ Варшавы. Он поехал один, чтобы подыскать квартиру для семьи, в которой было уже пятеро детей. Ничего не предвещало беды, когда Елизавета Васильевна, гостившая с детьми в Васильевке, получила известие о смерти мужа. Про-

* Анна Михайловна Виельгорская (1818–1884), в замужестве княгиня Шаховская.

** Михаил Юрьевич Виельгорский (1788–1856), граф, действительный тайный советник, обер-шенк двора великой княгини Елены Павловны. Композитор, музыкальный деятель, и. о. попечителя Харьковского учебного округа. Луиза Карловна Виельгорская, урожденная герцогиня Бирон (1791–1853). Фрейлина.

жив десять лет в браке, тридцатидевятилетняя Лиза осталась вдовой. Та же участь офицерской вдовы ждет и Ольгу Гоголь.

В 1850-м Павел Федотов написал картину «Вдовушка». Молодая женщина в трауре, рядом портрет ее мужа, возможно, погибшего во время Венгерского похода Русской армии 1849 года. Участниками этого похода были Владимир Быков и Яков Головня, муж Ольги. Часто сравнивают героев, сюжеты, колорит картин Павла Федотова и петербургских повестей Николая Гоголя. Есть еще одно сближение, странное, можно сказать – мистическое. Федотов и Гоголь умерли в один год (1852-й) и оба похоронили себя раньше смерти. Портрет офицера на картине «Вдовушка» – это автопортрет самого художника. Гоголь за шесть лет до смерти написал завещание, опубликовал его, включил в книгу «Выбранные места...». Завещание было написано так, будто дни писателя сочтены. Этим он страшно напугал мать и сестер. Последние месяцы Гоголь как будто перестал жить, сопротивляться болезни, умирил себя голодом.

Елизавета Васильевна пережила мужа только на два года. Пятерых детей Быковых, Николая, Юрия, Варвару, Анну и Марию, будет воспитывать Анна Васильевна. Николай Владимирович Быков, как и его отец, стал военным. Он служил в Нарвском гусарском полку и женился на дочери командира этого полка Марии Александровне Пушкиной, внучке великого поэта, дочери его старшего сына (1; 316).

Последние годы Анна Васильевна жила в Полтаве, в собственном доме. Она переписывалась с биографами Гоголя, получала и регулярно читала журналы «Русская старина», «Исторический вестник», «Вестник Европы». Внимательно следила за всеми материалами, посвященными Гоголю. Если была с чем-то не согласна, высказывалась эмоционально, категорично, резко. «Меня очень огорчила статья Белозерской! Как она оклеветала брата! <...> Теперь еще не успокоилась после зловерной статьи этой госпожи! <...> Еще не все сказала, что накипело на сердце!» (1; 150, 151), – писала Анна Васильевна П. А. Кулишу, одному из первых биографов Гоголя. Она была самокритична: «Такая уродилась бездарная, нетерпеливая, ленивая, не способная думать... не в силах ничего написать из воспоминаний» (1; 150). А жаль! Характер, темперамент, собственный взгляд на события – все есть в ее письмах. Умерла Анна Васильевна в 1893 году. Только младшая из сестер, Ольга, встретила XX век.

Глава 10. Переломившая судьбу (Ольга)

Родиться под счастливой звездой – это не про Ольгу Гоголь. Ее звезда была несчастливой. Двенадцатый ребенок в семье, она появилась на свет слабенькой. Одна нога у девочки была немного короче другой. Палец на правой руке обезображен. Ольга родилась 19 марта 1825 года, а 31 марта умер ее отец. Вдова отдалась своему горю, забыв о детях, даже о новорожденной. Дети остались на попечении родственников и прислуги. Но у семи нянек дитя без глаза. Ольга росла болезненной. Страдала золотухой и рахитом. Только на пятом году жизни начала ходить. В шесть лет по недосмотру взрослых с ней случилась беда, ставшая на долгие годы преградой между нею и окружающим миром. Ольга вспоминала, что у нее болело ухо, его затыкали корпией*. Однажды девочка протолкнула корпию слишком далеко. Взрослые заметили не сразу. Знахарка вытащила корпию палочкой. Потеря

* Корпия – материал из нитей льняной и хлопковой ветоши, использовалась для перевязок.

слуха была не полной, но значительной. Странно, что девочку даже не показали врачу. Можно ведь было отвезти ее в Полтаву или пригласить врача из города.

Когда Ольге исполнилось семь лет, старшая сестра, Мария, начала учить ее грамоте. Учение шло плохо. Девочка улавливала лишь отдельные слова, они плохо складывались, были лишены смысла. В семье не только считали, но и открыто называли Ольгу «тупой». Это было обидно и несправедливо. Восьми лет Ольгу отвезли за шесть верст к соседним помещикам. С их детьми она получила начальное образование. Запомнились ей уроки музыки. Учитель больно дергал за волосы. Когда Ольга сама коротко остригла их, учитель стал бить по рукам. Нот она не знала. Кое-как, по слуху, все-таки разучила несколько музыкальных пьес. Когда освоила мажурку, учење закончилось. У Гоголя были планы устроить Ольгу в Патриотический институт, но, позанимавшись с ней, он понял, что подготовить ее невозможно.

В 13 лет Ольга продолжила образование в доме помещика И. А. Горбовского, бывшего полтавского прокурора. Теперь он жил за 200 верст от Васильевки, в Переяславском уезде, приглашал учителей и гувернанток для своих детей. Он охотно принял в дом дочь своего старого друга, Василия Афанасьевича Гоголя. Два года девочка училась языкам и музыке. К 15 годам Ольга окрепла, не мучили уже детские болезни, и в ней пробудилось желание учиться. Она много читала, записывала прочитанное по памяти, проверяла по книге. Прошли годы упорного труда. Ольга научилась грамотно писать по-русски. Читала она не только по-русски, но и по-французски и по-немецки. Занималась Ольга и арифметикой. Соседка научила ее считать на счетах. Это пригодится в будущем, когда Ольга станет хозяйкой имения.

Ольга много занималась музыкой. Теперь она уже знала нотную грамоту, любила разбирать ноты, которые присылал брат. Когда устраивали танцы, Ольга обычно сидела за фортепьяно. Ее успехи оценил биограф Гоголя Пантелеймон Кулиш: «Глухота не мешает ей исполнять малороссийские напевы на фортепьяно со вкусом и характером» (1; 389). Лунными летними ночами Ольга собирала горничных, они садились на плотик, плыли по тихой глади пруда и пели. А на берегу пели другие девушки. Нравилось ли крепостным девушкам это ночное пение? Скорее всего, да. Теплыми летними вечерами и ночами собираться большими группами и петь – давняя в этих краях традиция, и прочная. В 1936 году во время поездки по Украине Корней Чуковский записал в дневнике: «Вышел в сад: настоящая опера. Огромная украинская луна, вдали тополя, несколько яблонь... справа, слева, сзади, спереди хоровое пение!!!»*.

Самым большим праздником для Ольги были приезды брата. Они родились в один день, 19 марта, с разницей в 16 лет, и это казалось ей добрым знаком. Николай Васильевич всегда был для Ольги идеалом человека. Все в нем ей нравилось: что и как говорил, как одевался. С детства Ольге принадлежало право приглашать брата к обеду, чем она дорожила и гордилась. Она бесшумно подкрадывалась к двери его комнаты, приоткрывала ее и торжественно произносила: «Братец, маменька просят обедать». Она замечала, какой ему нравится соус, какое пирожное, и напоминала маменьке, когда та давала распоряжения повару. Особой радостью было пришить пуговицу к жилету или сюртуку брата. Если он благодарил, Ольга была счастлива. «Всякий раз его улыбка меня в восторг приводила» (1; 204).

* Чуковский К. И. Дневник: В 3 т. Т. 3.: 1936–1969. М.: ПРОЗАИК, 2011. С. 22.

С детства Ольга была очень религиозна. Гротик в саду она превратила в подобие монашеской кельи. Повесила икону, зажигала лампаду, молилась. Не пропускала ни одной службы в церкви. Ольга с матерью и сестрами ездили в Киев на богомолье. Посетили Киево-Печерскую лавру, церковь Андрея Первозванного и Михайловскую*, где хранились мощи великомученицы Варвары.

Было время, когда Ольга даже хотела уйти в монастырь. Призыв брата устроить в Васильевке странноприимный дом она приняла всем сердцем и думала, чем может быть полезной. Решила лечить людей, что нельзя назвать барской причудой. Врачи тогда были в городах и у богатых помещиков. Для крестьян – только бабы-повитухи и немногочисленные знахарки. Ольга училась по травникам и лечебникам, записывала народные рецепты. Николай Васильевич одобрял эти занятия сестры, даже гордился ею. «Бог наградила ее чудным даром лечить тело и душу», – писал он С.П. Шевыреву 18 октября 1847 года**. Николай Васильевич посылал Ольге лечебники и деньги на лекарства. Но все-таки самым доступным лекарством оставались травы.

Степи вокруг Васильевки, Диканьки, Сорочинец удивительно красивы, особенно поздней весной и в начале лета. Золотисто-желтый дрок, розовая медуница, фиолетовая мелисса, пурпурно-красная смолка, кремовый лабазник. Степные травы высоки. Когда Ольга с братом выезжали в степь, то, не выходя из брички, собирали огромные букеты цветов. А рядом с бричкой, не боясь людей, вышагивали дрофы, стрекотали кузнечики. Ольгу привлекала не только красота, но прежде всего польза трав. От болезней печени бессмертник и копытень. От нарывов смолка. Переступень и череда чистят кожу. А многие лекарства растут в саду, даже во дворе. Кора дуба от зубной боли. Крапива при ревматизме. Липы в саду, бузина у плетня: отвары цветков липы и бузины помогают при лихорадке, простуде, кашле. Розовые мальвы так красивы на фоне белых хат, а листья мальвы – пластырь на раны. Ольга не боялась инфекций, навещала больных, окуривала хаты смолкой.

За ней закрепилась слава хорошей лекарки. Ольга даже переселилась в небольшой флигель в саду. Называла его «хатынкой». В одной комнате скромная спальня, похожая на монашескую келью. Икона, узкая кровать и стол. В другой комнате она принимала больных. Там стоял аптечный шкаф со множеством ящиков. Ольга взяла в помощники крестьянского мальчика, обучила его грамоте. Деревенские девочки помогали ей собирать травы. В награду она дарила им серьги, намисто (монисты, бусы), красивые коробочки. Все это она мастерила сама из цветных стекол и проволоки. Ольга успешно освоила разные ремесла. У нее был небольшой токарный станок, слесарные инструменты. Она могла даже починить настенные и напольные часы.

На вопросы о замужестве Ольга обычно с улыбкой отвечала: «Кто же возьмет меня, старую, глухую калеку и к тому же бедную и некрасивую» (1; 259). Но вот однажды в их доме среди других гостей оказался молодой офицер, капитан Яков Головня. К удивлению всей семьи, он в первый же день знакомства попросил у Марии Ивановны руки ее младшей дочери. «Будучи во все некрасива наружностью, она сияет внутренним светом, который на все движения разливает неуловимую, но влекущую к ней прелесть», – писал об Ольге Пантелеймон Кулиш (1; 390). Наверное, этот свет и разглядел капитан Головня, почувствовал, угадал. Но Мария Ивановна ему решительно отказа-

* Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

** Т. 11. Письмо 232.

ла, даже не поговорив с Ольгой. Возможно, из эгоизма. Она не хотела ничего менять в сложившейся жизни, а Ольга была послушной, удобной.

Вскоре началась Крымская война. Капитан Головня три раза был ранен, получил орден. В отставку он вышел майором. А в 1857-м, спустя четыре года, снова появился в доме Гоголей. Теперь Ольга сама решила свою судьбу, поверила в его любовь и дала согласие. Головня оказался заботливым мужем и хорошим хозяином. Но беспокоили старые раны. Он стал болеть и умер сорока семи лет. Ольга одна вырастила детей. Сыновья Николай и Василий, как их отец, стали офицерами. Они служили в Ахтырском драгунском полку в Белой Церкви. Дочь Маша вышла замуж. Счастливые времена в жизни Ольги всегда сменялись несчастливыми. Очень тяжелым стал для нее 1888 год, когда она потеряла двадцатипятилетнего сына Николая и двадцатисемилетнюю дочь Машу. На ее попечении остались трое детей дочери.

До последних дней жизни Ольга Васильевна оставалась деятельной, сохраняла хорошую память, интерес к жизни, к литературе. Прочитав «Исповедь» и «В чем моя вера» Льва Толстого, она делилась впечатлениями с младшим сыном Василием: «Я до сих пор совсем не знала и не понимала Толстого, он мне всегда казался страшным грешником, и я очень беспокоилась, что ты его читаешь; но теперь убедилась, что он очень, очень умный человек и многое понимает гораздо правильнее, нежели мы» (1; 261). Но более всего она любила перечитывать письма брата. Воспоминания Ольга Васильевна начала писать в день своего семидесятилетия.

До последних дней жизни Ольга продолжала лечить людей. Когда уже не вставала с постели, продолжала давать советы, какое лекарство принять. Слабая и болезненная от рождения, она прожила долгую жизнь. Умерла на восемьдесят третьем году. К смерти приготовилась как истинная христианка. Проверила, не осталась ли кому должна. Распределила между родственниками имущество и деньги, оставила только на свои похороны. Она не хотела, чтобы тратили другие, даже близкие. От своих детских бед и обид она могла замкнуться в себе или ожесточиться. Но этого не случилось. Ольга умела видеть в жизни светлые стороны. Даже платья она носила всегда светлые. Даже кур держала белых или пестреньких. Она была светлым человеком. Такой и запомнилась людям.

Мария, Анна, Елизавета и Ольга – обыкновенные женщины. Но их не поглотила бездна времени. Они остались в истории литературы как сестры Гоголя – земные спутницы его немеркнущей звезды.



ЗОЛОТО, ЯРОСТЬ И БРЕМЯ РЫЦАРСТВА: КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ



ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский педагогический государственный университет. Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной

русской и зарубежной прозе. Руководила PR-отделом издательства «Вагриус», работала бренд-менеджером «Реданции Елены Шубиной». Продюсер издательства «Альпина. Проза».

Книги для взрослых

КЛАРА ДЮПОН-МОНО, «АДАПТАЦИЯ» (POLYANDRIA NO AGE)

В совершенно обычной семье — мама, папа, сын и дочь — рождается новый малыш. Очень хорошенький, как две капли воды похожий на старшего брата. За одним исключением. Он никогда не будет «нормальным»: какой-то генетический сбой не позволит ему ни научиться сидеть и ходить, ни видеть мир вокруг. Все, что он может, — слышать и чувствовать запахи и прикосновения. Особенный ребенок, который, вопреки прогнозам врачей, проживет не пару лет, а целых десять, станет настоящим испытанием для семьи. Каждый из ее членов пройдет испытание малышом, каждый пройдет его по-своему, каждый вынужден будет с этим жить после его ухода. Каждый. Даже четвертый ребенок, который рождается уже после смерти малыша. Клара Дюпон-Моно показывает, как маленький человек, который никогда не освоит даже самые простейшие действия, становится одновременно и центром мира окружающих, и индикатором их поведения на протяжении всей жизни. «Адаптация» — совсем небольшой, но очень важный роман, который напоминает нам о том, что для любви не существует презумпции «нормальности», что жалость и неприязнь отступают, когда ты хочешь научиться видеть и чувствовать.

И новый малыш, самый младший, рождается как знак искупления и освобождения. Его взросление будет сопряжено с очищением от болей, обид и травм прошлого для всех членов семьи, в том числе, как ни удивительно, для него самого: он родился словно не сам по себе, а «вместо». И свое собственное место среди самых близких людей ему только предстоит найти. Для этой истории автор нашла идеальных рассказчиков —



намни двора дома, в котором живет семья. Вечные и неподвижные, они наблюдают за тем, как течет жизнь, как растут дети и сменяются поколения.

«Мы, камни, хранители этого двора, тоже очень ждем девочек, как и их родственники, которые теперь живут в другом доме – за рекой. Мы узнаем скрип тяжелой двери, вздох облегчения после поездки, скрежет садовой мебели, которую выносят во двор. Мы будем смотреть, как они обедают, будем наслаждаться вечной сменой поколений, а еще мы знаем, что обычно, когда приезжает младшая, вскоре появится и старший брат. Они остались очень близки».

**КАРЛ ЯСПЕРС, «ВОПРОС О ВИНОВНОСТИ.
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЕРМАНИИ»
(«АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР»)**

«Вопрос о виновности» — это сборник конспектов лекций, которые Карл Ясперс читал в Гейдельбергском университете после Нюрнбергского процесса. Он посвящен проблеме вины и ответственности не только нацистов, но и всех немцев за военные преступления. Ясперс говорит предельно прямо и честно, пытается осмыслить происходящее и разграничивает четыре вида виновности: юридическую, политическую, моральную и метафизическую. Исследователь исторической памяти Николай Эппле пишет в предисловии: «Такой разговор — именно здесь Ясперс выступает как опытный психолог — не может вестись с внешней позиции. И Ясперс ведет разговор изнутри, как немец и как тот, на ком лежит такая ответственность, как и на всех прочих, — притом что, желая освободиться от ответственности, он, с риском для жизни отказывавшийся идти на компромисс с режимом, имел бы для этого достаточно оснований».

Ясперс ставит целью этой книги совершение внутреннего поворота, полной переоценки ценностей: «Всеми этими рассуждениями я, как немец среди немцев, хочу способствовать ясности и единодушию, а как человек среди людей участвовать в наших поисках истины».

«Давайте научимся говорить друг с другом. То есть давайте не только повторять свое мнение, а слушать, что думает другой. Давайте не только утверждать, но и связно рассуждать, прислушиваться к доводам, быть готовыми посмотреть на вещи по-новому. Давайте попробуем мысленно становиться на точку зрения другого».

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, «КОМИТЕТ ОХРАНЫ МОСТОВ» («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ»)

Роман о молодом журналисте портала «Улица Ленина» (привет Шамилю Идиатуллину) Никите Назарове, который специализируется на громких расследованиях. Это книга о власти и правоохранителях глазами представителя СМИ, социальная история, которую хотелось бы назвать гипер-болой, но только гипербола ли это? По слухам, группа студентов собиралась взорвать мост через Енисей. Было это на самом деле или это чьи-то домыслы, непонятно, но в этом деле у каждого свой интерес. Студентов, конечно, сажают, и сроки, конечно, фантастически суровые.

Этот роман о том, как нечто страшное, хтоническое вошло в нашу повседневную жизнь и незаметно в ней обосновалось. И в образе Зимнего Прокурора, и в виде великой метафизической стройки с реальными бюджетами моста из Сибири в США. Теперь для настоящих честных журналистов и родителей этих ребят пути назад действительно нет — бояться героям поздно, нужно действовать.

Страшный и болезненный роман, который нужно читать, потому что он пытается ответить на важные вопросы современности.

«— Второй пацан, Юрасик этот, во всем сознался. Да-да, Ника. Теперь совсем огого-эгегей».

— В чем “во всем”? — спросил Никита, слегка поморщившись. Олень, как и прочие психонавты, ему надоел.

— Во всем! Организации, там, подготовке к минированию... будто он ездил специально смотреть, где лучше подложить под опоры.

— Под какие опоры?

— Ну так моста. Четвертого. Мост, говорит, хотели бабахнуть! — Олень показал прореженные зубы. — Четыре кило тротилового эквивалента!

— Какого эквивалента?!

— Сухого, — значительно пояснил Олень и невесело рассмеялся, — сейчас весь эквивалент сухой. Если не обоссешься. Этому чуваку, Юрасику, пальцы на руке обстригли, слышал? Когда тебе отгрызают пальцы, ты и сам под мост заложись...»

ДЖОЗЕФ ГИС, ФРЭНСИС ГИС, «ЖИЗНЬ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЗАМКЕ» («НОЛИБРИ», «АЗБУКА-АТТИКУС»)

Блёрб на обложке от Джорджа Р.Р. Мартина, в котором он признается, что «Жизнь в средневековом замке» была его настольной книгой, когда он работал над «Игрой престолов» и синвелами, должен, кажется, обес-печить мгновенное сметание тиража с прилавков книжных магазинов,



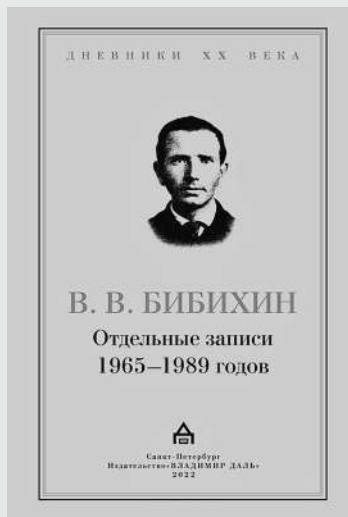
поскольку армия фанатов сериала по книге Мартина поистине огромна. Но какая ее часть захочет не просто приобщиться к чтению кумира, но и попытаться ответить для себя на вопрос, как работает магия любимой книги, — вопрос. Когда я училась в пятом классе, одним из заданий на уроке истории было описать день из жизни средневекового рыцаря. Книга Джозефа и Фрэнсис Гис — это очень подробный и увлекательный ответ на этот вопрос. Нем были владельцы замков и зачем им понадобились такие огромные жилища, как становились рыцарями и что собой представляла средневековая охота, какие функции выполнял замок во время войны и в разные сезоны. Книга, которая отвечает на множество вопросов об одной из самых интересных эпох европейской истории.

«Постепенно птицу “распечатывали” ночью или в затемненной комнате, так чтобы она не увидела лица человека, — предполагалось, что вид последнего невыносим для сокола. Потом ее снова носили на запястье в течение одного дня и одной ночи, давали немного пищи, нежно поглаживая, и постепенно увеличивали количество света. Когда сокол как следует привыкал к своему положению, его выносили на улицу до рассвета и вносили в дом, пока было еще темно. Наконец способность видеть полностью восстанавливалась, и сокол отныне жил при дневном свете».

ДЖЕННИ ОФФИЛЛ, «БЮРО СЛУХОВ» («ЛАЙВБУН»)

ДЖЕННИ ОФФИЛЛ, «ПОГОДА» («ЛАЙВБУН»)

Роман Дженни Оффилл «Бюро слухов» летит стремительно, как человеческая жизнь. Мечты, иллюзии, события важные, неважные, значительные и нет, крушения и новые надежды — все фрагментарно, словно давние воспоминания. Обернешься назад — неужели столько лет прошло? Где же та девочка, которая в детстве выкладывала из палоч огромными



бунвами свое имя? В мире Оффилл первичная и вторичная реальности — настоящая жизнь и цитаты из книг — одинаково реальны и осязаемы, они формируют сознание героини, разгоняют или резко замедляют повествование.

Повествовательница в «Погоде» — библиотекарь колледжа Лиззи, которую очень беспокоят глобальные климатические изменения. Это книга о предчувствии катастрофы, когда для отдельного человека семейные проблемы, предельно частные, и глобально-общемировые, оказываются равно важными, соположенными.

«Не понимаю, что со мной не так. Кажется, я все делаю неправильно. И главное — не то чтобы я не догадывалась, что принимаю необдуманные решения. Нет, я вижу, как все будет, и все равно делаю глупости.

Глупость номер один: я провожу слишком много времени в разъездах и притворяюсь чужим психотерапевтом, при этом игнорирую тех, кто со мной живет. В последнее время я каждый вечер говорю по телефону с матерью. “Лиззи, есть минутка?” — спрашивает она, когда звонит.

Все разговоры о будущей малышке. Мама очень хочет приехать, когда она родится, но боится, что окажется никому не нужна, а позвали ее только из вежливости».

АЙ ВЭЙВЭЙ, «1000 ЛЕТ РАДОСТЕЙ И ПЕЧАЛЕЙ» («АЛЬПИНА НОН-ФИКШН»)

Автобиография одного из самых известных художников современности Ай Вэйвэй — это портрет на фоне эпохи. Это книга-свидетельство, важную роль в которой играет отец художника — знаменитый китайский поэт Ай Цин. Неслучайно книге предпослан его эпитафия, который, кстати, дал название всему тому воспоминаний:

*Но нет – великолепный дворец
Уже обратился в руины.
От тысячи лет радостей и печалей
Нет и следа.*

*Живущий – живи же как следует, в полную силу,
Не жди, что земля будет помнить.*

Второй главный герой книги — вовсе не сам Ай Вэйвэй, как можно было бы ожидать, а его сын. Связь поколений, прошлое и будущее — традиционный прием для литературы этого жанра. Три поколения — и три очень разные жизни. Его отец, родившийся в год смерти Льва Толстого, восхищался Плехановым, Маяновским и Есениным; он сам дружил с Алленом Гинзбергом и Энди Уорхолом. Но жизни обоих далено не безоблачны. Эта книга о противостоянии личности и государства, о том, как важно сохранить себя ради себя самого, а не для последующих поколений — они могут забыть, но это не имеет никакого значения.

«От отца я унаследовал лаконичность стиля: он любил простоту, и откровенное выражение эмоций вызывало у него восторг. Для меня тоже экономия имеет смысл, ведь убрать ненужное очень логично; так в детстве я выдолбил нишу в стене землянки, чтобы поставить туда то, что было необходимо, – маленькую масляную лампу, и ничего больше».

ВЛАДИМИР БИБИХИН, «ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 1965–1989 ГОДОВ» («ВЛАДИМИР ДАЛЬ»)

В серии «Дневники XX века» вышли дневниковые записи переводчика, филолога и философа Владимира Бибикина, которые хранятся в трех архивных папках, — отдельные листочки, которые велись параллельно с дневниками. Так Бибикин записывал внезапно пришедшие мысли, находки, озарения, конспекты. Упорядочить их помогло то, что большинство из них датированы, а недатированные лежали по порядку в папках. Героями этих фрагментов стали Ирина Роднянская и Пиама Гайденко, Сергей Аверинцев, Дмитрий Благой и многие другие выдающиеся литературоведы.

Размышления Бибикина о теории и практике перевода и философии представляют особенный интерес, поскольку именно в его переводе нам известны все основные труды Хайдеггера (в частности, «Бытие и время»), но не только: еще Людвиг Витгенштейна, Георга Гадамера, Антонена Арто, Вильгельма Дильтея и многих других.

«Состояние толпы. Она задним числом констатирует: “Вот я вошел в автобус, вот я заговорил, вот я неожиданно упал вместе со стулом и, кажется, валясь назад”. “Я, кажется, влюбился”. “Я, кажется, пойду на историка сегодня в бывшем военном кителе”. “Кажется, это такая же обитая железом лестница, как та, на которую я поднимался в ту ночь, когда не спал”. Только если мне повезет (а многие думают, что это несчастье) в то же время говорить о своем состоянии, и меня поймут не обманывая, а на деле (или я буду описывать его), я знаю проблески, похожие на пробуждение, в гущу этого сна. Видеть и слышать немного по-настоящему, а не только этими глазами и ушами».

АБЛУЛРАЗАН ГУРНА, «ПОСМЕРТИЕ» («СТРОНИ»)

Второй переведенный на русский язык роман нобелевского лауреата танзанийского происхождения в смысловом и хронологическом отношении (но не сюжетно) продолжает «Рай». Если в первом романе немецкие войска только появились в Африке, только замаячили не вполне определенным будущим, то теперь это будущее уже наступает весьма ощутимо. События начинаются в конце XIX вена: один из главных героев, одиннадцатилетний на тот момент Халифа, начинает учиться за год до прихода на Восточное побережье Африки немцев — это время восстания Бушири. Если герой «Рая» бежал за европейцами, очарованный мощью, красотой и напором армии, которая сметет старый уклад, то теперь Африка тонет в крови и ее границы расчерчивают по линейке. Специалист по постколониальной литературе профессор Гурна показывает, как расчищается место для того, чтобы построить новое, и как за строительство этого самого нового начинается борьба: немцам предстоит воевать против англичан, и африканцы здесь — лишь разменная монета. Более традиционное общество трудно вообразить: и мужчины-то, если они небогаты, практически бесправны, а уж о женщинах и говорить не приходится. Тем не менее писатель показывает зарождающуюся — пока еще на самом начальном этапе — мысль о значимости женщины, о ее способностях и потенциале. Халифа женится по совету своего работодателя, не видя невесты ни до свадьбы, ни даже на ней. Будущую жену же и вовсе никто не спрашивает — ее нужно отдать замуж, чтобы уберечь имя от возможного бесчестья. Но Аша оказывается гораздо тверже, решительней и сообразительней мужа, это такая предэмансипе в максимально неподходящем для этого обществе.

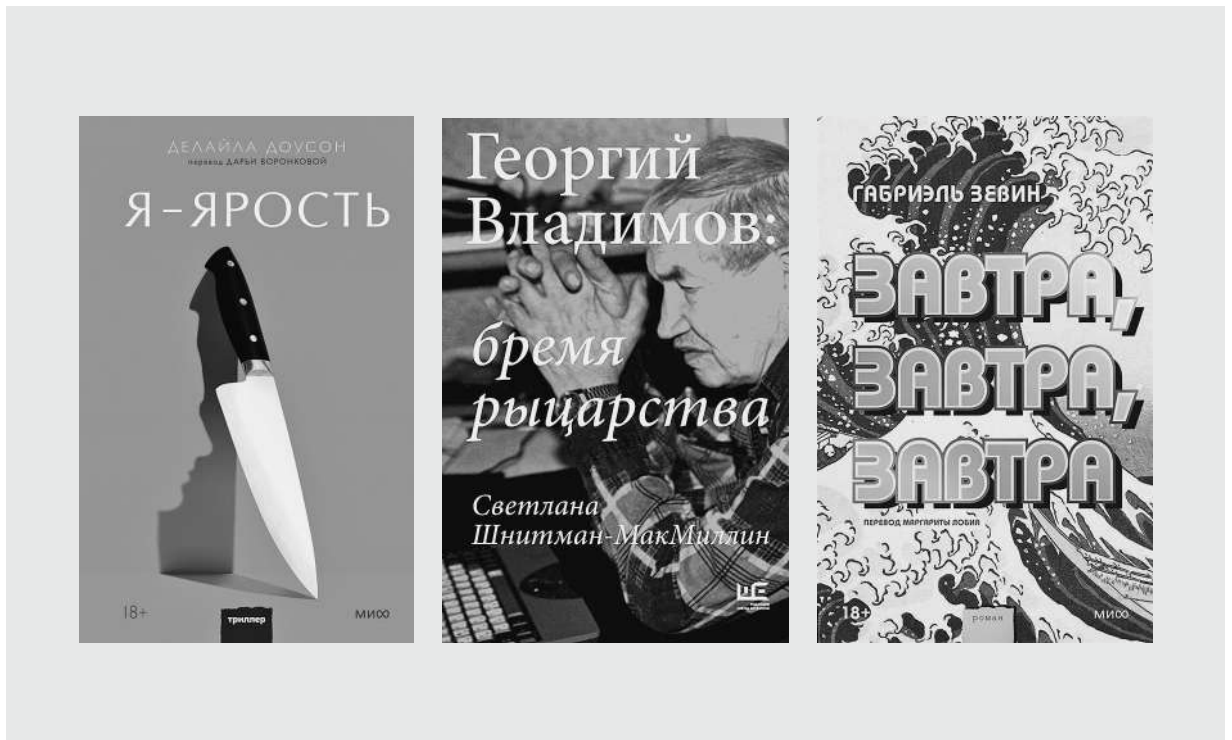
На примере нескольких героев и нескольких — довольно разных — судеб Гурна показывает Африку, сотрясаемую восстаниями и бунтами. Новый уклад приходит с огнем и мечом, но времена, как известно, не выбирают.

«Вернувшись в город, Халифа несколько месяцев чувствовал, что остался один в целом свете, неблагодарный, бестолковый сын. Чувство это стало для него неожиданностью. Он много лет жил вдали от родителей — сперва у учителя, потом у братьев-банкиров, теперь вот у купца — и ничуть не стыдился, что совсем их забросил. Их безвременная кончина стала трагедией, приговором ему. Он ведет никчемную жизнь в чужом для него городке, в стране, где не утихает война: регулярно сообщают об очередном восстании то на западе, то на юге».

ДЕЛАЙЛА ДОУСОН, «Я — ЯРОСТЬ»
(«МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»)

Роман о домашнем насилии, в котором есть черты триллера и антиутопии. Черты, но социальная тема здесь действительно самая важная. Автор признается, что и сама была жертвой домашнего насилия, поэтому знает, как важно не молчать и не терпеть. Да и само насилие бывает разным, далеко не только физическим, психологическое давление ничем не лучше.

После пандемии ковида в мир приходит новая эпидемия, которая вызывает неконтролируемые приступы ярости. Но главная героиня Челси и без этого вируса живет в аду, более того, внезапная эпидемия может оказаться спасительной: меньшее зло помогает победить глобальное,



давно укоренившееся. Ярнo-красная обложка с ножом — как сигнал о том, что пора проснуться и действовать. И литература здесь — только способ докричаться до общества.

«Перемены происходили так медленно, что она даже не заметила. Первая школьная любовь стала идеальным парнем, потом слегка рассеянным мужем, потом первокурсником колледжа, который допоздна засиживался на вечеринках и приходил домой к беременной жене (Челси никогда не приглашали — “для твоего же блага”, говорил Дэвид). Он настоял, чтобы они открыли общие счета в банке, и она передала ему контроль над финансами — пусть сам планирует их бюджет. Ведь она так плохо разбирается с цифрами. Он всегда хотел, чтобы она сидела дома с дочерьми, не позволяя ей даже подрабатывать на полставки, а эфирные масла и прочие ее попытки заняться предпринимательством — попытки спастись из этого рабства! — лишь увеличивали ее долг перед мужем. Она не зарабатывает, у нее нет собственной кредитной карты или перспектив трудоустройства».

СВЕТЛАНА ШНИТМАН-МАКМИЛЛИН, «ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ: БРЕМЯ РЫЦАРСТВА» («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНА ШУБИНОЙ»)

Филолог-славист Светлана Шнитман-МакМиллин исследует жизнь и творчество писателя и диссидента Георгия Владимова, автора сейчас, к сожалению, подзабытых, но очень важных книг «Генерал и его армия», «Верный Руслан», «Три минуты молчания». Особенный интерес представляет не только то, что это первое настолько полное исследование, но и фант личного знакомства и дружбы Шнитман-МакМиллин с Владимовым. Автор рассматривает жизнь писателя с самого рождения, останавливаясь на наиболее важных реперных точках — главных книгах, публикациях, событиях: периоде Великой Отечественной войны (Владимир родился

в Харькове в 1931 году), родителей, эмиграции и правозащитной деятельности, шумихе вокруг романа «Генерал и его армия», возвращении в Россию после получения жилья в Переделкине. Важная книга, которой пора было появиться: после смерти писателя прошло уже почти двадцать лет.

«Почти сразу после публикации в “Знамени” произведение Владимова вызвало неожиданную для автора публичную дискуссию. Спор произошел из-за выступления в газете “Книжное обозрение” Владимира Богомолова, автора романа “В августе сорок четвертого”, подвергшего резкой критике верность военных деталей, точность образов исторических персонажей и “новую мифологию” в произведении Владимова. <...> Владимов писал, что нанесен урон его чести – “как человека, писателя, патриота России”».

ГАБРИЭЛЬ ЗЕВИН, «ЗАВТРА, ЗАВТРА, ЗАВТРА» («МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»)

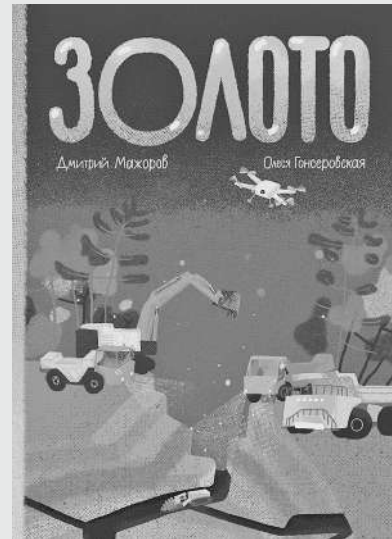
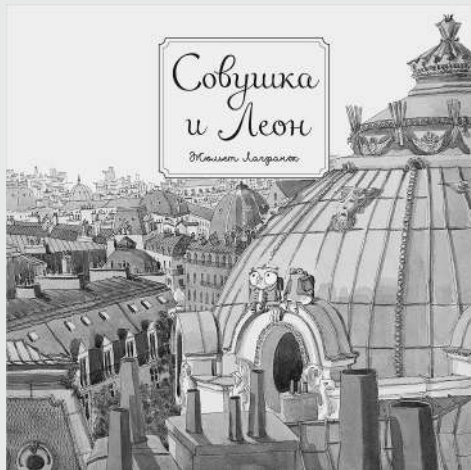
Нашумевший производственный роман про геймдев. Главные герои, Сэм и Сэди, познакомились еще в детстве и сошлись на фоне любви к компьютерным играм, но потом, как это часто бывает, жизнь их развела. Новая встреча через восемь лет — и новый виток отношений и дружбы. Теперь Сэди учится на разработчика, и Сэм загорается идеей создать собственную игровую студию. Это история взлетов и падений, ссор и примирений, поисков себя и желания помочь людям — потому что для многих людей компьютерные игры становятся убежищем и защитой от реальности. Зевин показывает и специфику игровой индустрии, и историю человеческих отношений: как дружба перерастает в любовь, как личные отношения вторгаются в рабочие. Это роман об отношениях и одиночестве, взрослении и ответственности.

«В детстве ты и не догадывался, что будешь директором по развитию. Порой ты задаешься вопросом, а не вывела ли тебя на эту стезю необоримая лень? Не стал ли ты директором по развитию только потому, что Сэм и Сэди загорелись написать компьютерную игру, а тебе было нечем заняться? Не стал ли ты директором по развитию только потому, что любил этих двух творцов игр? Сколько же всего в своей жизни ты отдал на волю случая? На откуп огромного многогранного кубика?»

Книги для детей и подростков

ЖЮЛЬЕТ ЛАГРАНЖ, «СОВУШКА И ЛЕОН» («ПОЛЯНДРИЯ ПРИНТ»)

Когда вы увидите авторские иллюстрации этой книги, вы уже едва ли сможете выпустить ее из рук. В этот момент становится совершенно неважно, есть ли там текст вообще и если есть, что именно там написано. И тем не менее история тоже очень милая. На картинках Лагранж Париж оживает какой-то особенной, удивительной жизнью: с мозаикой солнечных пятен, пробивающихся сквозь густую листву, с окошками, резными балкончиками и крышами разной формы. Со стеклянной пирамидой Лувра и скелетами Большой галереи эволюции. Это история о настоящей дружбе, первой влюбленности и смелости признаться в этой влюбленности самим себе и своим друзьям. Детская книжка, которую хочется дарить не только детям.



ДМИТРИЙ МАЖОРОВ, ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ, «ЗОЛОТО»
(«ПОЛЯНДРИЯ ПРИНТ»)

Прекрасный научпоп для детей об одном из самых популярных элементов периодической системы. Книга с весьма привлекательными иллюстрациями Олеси Гонсеровской рассказывает о целом мире, в котором люди разных профессий решают задачи по превращению невзрачного серого камня в блестящий золотой слиток. Здесь ответы на вопросы, как найти золото, которого не видно, опасна ли золотая лихорадка, кто такие маркшейдеры, какими свойствами обладает золото, какие машины используются в золотодобыче и как провести дома ручное выщелачивание. По-настоящему много новой информации, которая при этом читается легко, наглядно и увлекательно.

«Кстати! Автоклавы используются не только в промышленности, но и в быту – чтобы сделать заготовки на зиму! Банки помещают в автоклав, затем внутри него нагнетается давление, которое повышает температуру в банке. В итоге бактерии погибают, и заготовки лучше хранятся. По принципу автоклава работает и скороварка. Благодаря давлению блюда готовятся гораздо быстрее».

ШАРЛОТТА ЛАННЕБУ, МАРИЯ НИЛЬССОН ТОР,
«АСТРИД И АМИР. ТАЙНА СЕКРЕТНОГО НОДА»
(«МАХАОН», «АЗБУНА-АТТИКУС»)

Называть хороших детских писательниц из Швеции «новой Астрид Линдгрэн» давно стало таким общим местом, что мы, пожалуй, не будем. Шарлотта Ланнебу хороша и сама по себе, без привязки к знаменитой предшественнице, а уж в переводе Ольги Мязотс и подавно. Прекрасная серия маленьких историй про девочку Астрид, жизнь которой полна



приключений и веселья. На этот раз ее новый одноклассник Амир придумывает секретное агентство, которое будет искать шпионов, и Астрид предстоит стать его напарником. Очень веселая книжка: детей не придется заставлять читать, они с радостью прочтут ее по собственной воле за вечер-другой.

«Пирогги прилились очень кстати, потому что, когда я вернулась домой, мама была в плохом настроении. Это с ней случается примерно раз в четыре дня, когда она вдруг обнаруживает, какой дома беспорядок. У нас только Бланка любит убираться, а мы с Юлле почти не замечаем, как разбрасываем свои вещи. Мама уже хотела меня отчитать за то, что я не повесила как следует куртку и не поставила рознькю ботинки, но я протянула ей пакет.

– И что это? Это нам? От мамы Амира? Как прекрасно пахнет! Какая замечательная женщина!

Мамино дурное настроение как рукой сняло. Я съела пять пирогов на ужин. Бланка четыре, а Юлле шесть. Папе мы ничего не оставили, потому что он все еще в Лондоне».

ЛАРИСА РОМАНОВСКАЯ, «ЗАХОЛУСТЬЕ. ПОКА Я ЗДЕСЬ» (WBOOKS)

В серии «Фэнтези нового поколения» продолжают выходить отличные подростковые жанровые книги. Лариса Романовская — лауреат премий «Ннигуру» и «Новая детская книга». «Пока я здесь» — первый роман из цикла «Захолустье». Как следует из названия цикла, портал в таинственный мир спрятан на периферии, в маленьком городке, где человеческие эмоции — главный энергетический ресурс. Снолько света и тепла выработается, напрямую зависит от того, что будет чувствовать

люди. Ну а любой ресурс становится причиной раздоров, ссор и спенуляций. Вине пятнадцать, она почти обычный подросток, который попадает в необычный мир. Почти... Если не считать того, что девочка хорошо помнит то, что было раньше, но ей постоянно приходится напоминать себе, какой сейчас месяц и где она находится, не может соотнести время и место. А раньше — раньше вместо реальности она «помнила» то, чего на самом деле не было, то, что подсунуло ей ее сознание.

Теперь она в Захолустье, и только от нее зависит, сможет ли она сохранить здесь себя и помочь другим.

«Мы с Юрой расцепили руки раньше, чем экран перестал мерцать. Стояли, стараясь не касаться друг друга, и смотрели, как Экран сереет, будто море после захода солнца. Улица стала вдруг тоже почти пустой, хотя солнце еще не коснулось гор. Но люди разошлись, вернулись в дома, в машины. Поливалка для цветов заработала сильнее. Собака убежала, ее, наконец, позвали, крикнули, приоткрыв дверь. И она умчалась. Как-то очень быстро, собаки с такой скоростью не бегают вообще-то».



ТАКОЕ НЫНЧЕ В МОДЕ: НОВИНКИ ВЗРОСЛОГО И МОЛОДЕЖНОГО ФЭНТЕЗИ



ДЕНИС ЛУНЬЯНОВ

Родился в Москве, студент-журналист первого курса магистратуры МПГУ. Ведущий подкаста «АВТОРизация» о современных писателях-фантастах, внештатный

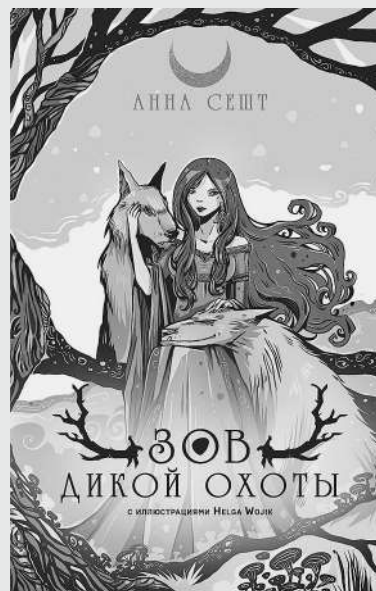
автор радио «Нига» и блога «ЛитРес: Самиздат». Сценарист, монтажер и динтор радиопроентов на студенческой медиаплощадке «Пульс», независимый автор художественных тенстов.

ХАННА ЛИНН, «ДИТЯ АФИНЫ» («МИФ»)

В детстве Медузу отдали в храм Афины, чтобы мужчины перестали бросать на растущую красавицу похотливые взгляды. Девочка выросла, стала жрицей Афины, за порог храма которой нельзя шагать мужчинам. Но богам закон не писан — в святилище Медузу обманом опорочил Посейдон. За это девушка была проклята своей богиней, не пожелавшей выслушать, как все было на самом деле. Так и стала той самой Горгоной — чудовищем из легенд.

На пике популярности ретеллингов странно было бы, если бы никто не рассказал альтернативную историю знаменитой Горгоны Медузы и ее сестер. Ханна Линн решает сделать сразу двойное сальто «альтернативного взгляда». С точки зрения уже устоявшихся в ретеллингах концепций «Дитя Афины» — одновременно и смещение акцентов на мир женщин, которые в оригинальных греческих мифах обычно присутствуют лишь для галочки, и «оправдание монстра». У Ханны Линн получается легкий, не нарушающий логики первоисточника ретеллинг, проливающий свет на темы, о которых древние предпочитали молчать. Кто отвечает за ошибки богов? Какова роль женщины в мраморной Греции? Последнему в особенности посвящены первые шестьдесят страниц, до обращения Медузы в жуткого монстра — это, пожалуй, лучший фрагмент книги.

Роман разделен на две части: становление Медузы и историю Персея, которая плавно вливается в основной сюжет. И если первая часть — проста, лаконична, эмоциональна и самодостаточна, то вторая вызывает несколько вопросов. Она сделана умело, важна для довершения авторского замысла, но на последних ста страницах абсолютно теряется Медуза. А ей здесь самое место — прошло несколько тысяч лет. Читатель упускает пласт повествования. Академический «путь героя» резко обрывается, и это сбавляет эмоциональное напряжение. Эффект такой же,



как от фильма на поцарапанном CD-диске, где вместо середины кино — рябящий экран.

А ведь первая часть романа закончилась бунвально на надрыве. И получается, что в финале нервы уже не натянуты до предела. Читателя словно пересадили с жесткого стула — еще и с подушечкой из гвоздей — в мягкое кресло. В аннотации обещают: «Пришло время услышать голос Медузы». И от голоса этого — кричащего, душещипательного — в лучшем смысле закладывает уши. Но только в течение первой части. Потом крик Медузы доносится лишь отголосками, теряясь. Пропадает магия. Хотя альтернативная концовка подана весьма интересно.

«Дитя Афины» — это в некотором роде «Цирцея» Мадлен Миллер, но в миниатюре. И там и там совершенно по-другому раскрывается вроде как явно негативный персонаж, а сюжет подан с уклоном в «женскую» сторону. Вот только Миллер проводит героиню через куда больший насклад мифов и рисует более красивый (но все равно подлый и жесткой) мир богов. А еще и тут и там Афине все нейдет: ведет она себя, мягко говоря, не лучшим образом. Пусть вторая часть «Дитя Афины» и кажется чуть скомканной и недожатой, книга не перестает быть легкой, увлекательной, с интересным взглядом на всем известную мифологическую историю. Этот роман — натянутая струна. Пускай вибрирует она в унисон с читателем больше в начале, чем в конце.

АННА СЕШТ, «ЗОВ ДИКОЙ ОХОТЫ» («ЭНСМО»)

Риана — дочь короля-друида. Ее волшебный дар совсем слаб, она плохо поет, зато видит чудесные сны-путешествия, где ее встречают сотканный из теней всадник и его гончие. И вот Риану выдают замуж за короля-завоевателя соседнего государства, сердце которого закрыто

и навени принадлежит другой, а ум опутан интригами верховного жреца. В его королевстве — Немране — из земли ушло волшебство и иссякли чудеса, которыми питались ведьмы и друиды. Теперь Риане, новой королеве этих мест, придется вернуть магию и понять, почему так произошло.

«Зов дикой охоты» — книга с послевкусием средневековых баллад. Это даже не столько роман, сколько одна прекрасная легенда о любви и волшебстве, полная аутентичных мотивов. Анна Сешт умело развешивает по тексту колокольчики-референсы — начиная мифологическими, заканчивая — литературными. Тут есть культы Отца и Матери, которые одновременно и противопоставляются, и существуют в гармонии. Есть праздники Колеса Года, волшебные деревья, фейри, барды и опасные магические сплавы, которые придумал кузнец-волшебник. Текст постоянно намекает читателю своим перезвоном: остановись, вчитайся, и поймешь, к чему здесь эта деталь, а к чему — та. «Зов дикой охоты» по духу напоминает артуровский цикл и средневековый эпос; некоторые фрагменты будто сошли со страниц мифов; по настроенной и поэтике эта книга похожа на «Тристана и Изольду». Иными словами, «Зов дикой охоты» — возможность окунуться в выдуманный мир, постоянно нашептывающий что-то родное и старинное. Это абсолютно самобытная история, в текстовой чаще которой при этом переплетаются прочные корни и гибкие ветви контекстов.

Сложен роман тоже подобно бардовской песне, разве что Анна Сешт не приложила нотный лист с анкомпанементом для лютни или арфы. История очень красивая, плавная и поэтичная, героев — минимальное количество, все интриги ужаты в небольшой объем и часто раскрываются действительно в формате условных «сказаний». Необходимую предысторию читатель узнает из уст героев (тут где-то радостно улыбается один Пропп), и она действительно звучит как предание — особенно часть о волшебном кузнеце, бывшем короле Немраны и его предательстве. Все это — кусочки масштабного изображения. Какая же средневековая легенда без сияющего витража? Убери одно его стеклышко — рассыпется все остальное. Сюжет «Зова дикой охоты» достаточно вялотекущий, что не делает роман хуже — просто чуть повышает порог входа в текст. Первые пятьдесят страниц сложно догадаться, что к чему, но главное — потом все встает на свои места. От «Зова дикой охоты» не стоит ждать массовых сражений крупным планом, резни, безумных погонь. Здесь все очень намеренно — тем лучше. Это к тому же еще раз доказывает, что Анна Сешт может писать о разном и совершенно по-разному. Не все же героям от оживших мумий в XXI веке спасаться.

КЛЭР НОРТ, «ПРЯЖА ПЕНЕЛОПЫ» («МИФ»)

Есть ретеллинги (пересказы мифологических или сказочных историй), которые полностью подчиняются логике сюжета. Как, например, «Дитя Афины», о котором речь шла выше. А есть ретеллинги более вялотекущие — сложно ведь проспойлерить, чем кончилась Троянская война? Да и сюжетно удивить мало чем получится. «Пряжа Пенелопы» — как раз из таких книг. Ожидание Одиссея здесь переплетается с мифом об Оресте и Электре, а потому история неспешна и совершенно точно понравится тем, кто фанатеет от древнегреческих сюжетов. Как Еврипид в свое время сделал в «Медее» из рядового мифа сложный психологически сюжет, так и Клэр Норт обогатила первоисточник. И смыслами, и образами.

«Пряжа Пенелопы» — еще один ретеллинг сквозь классическую фем-оптику, сконструированный весьма необычно. Книга очень фантурна, здесь много деталей; в текст не просто погружаешься, а ныряешь. Но это — далеко не самое интересное в романе.

«Пряжа Пенелопы» — именно что *пересказ* событий, который не боится быть пересказом. Знакомая история не воспета поэтом, а изложена богиней Герой на свой лад. Это и придает тексту совершенно особенный шарм. Во-первых, богиня может проникнуть куда угодно, даже в помыслы и сны. И показать Итаку с любого ракурса — буквально. Во-вторых, рассказчица обращается к читателю напрямую («вы должны знать...»). В-третьих, глаголы часто используются в настоящем времени, а это создает совершенно особенное ощущение собственно времени и пространства. Прием сложный и не всегда действенный, но в этом романе он работает на полную мощность. И в-четвертых, альтернативную версию нам рассказывает не какой-то условной автор, а, по сути, современница событий. Кому, как не богине, понимать чаяния женщин и мужчин Древней Греции? А еще Гера иногда чудесным образом подстебывает всю божественную рать: детей, братьев, особенно мужа, Зевса. «Пряжа Пенелопы» — своего рода роман — обзорная площадка, где со всех сторон удается взглянуть и на переплетенные мифы, и на Итаку, и на героев.

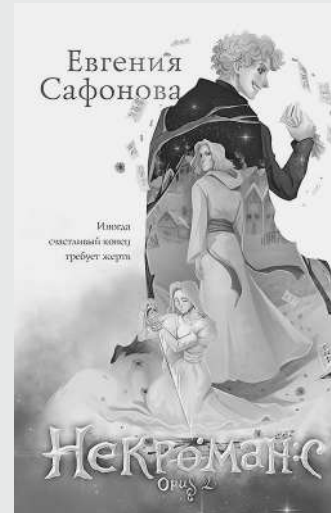
Книга Клэр Норт — это история не только самой Пенелопы, но и трех бывших спартанских цариц: Клитемнестры, Елены и собственно Пенелопы. Их жизни перевернули и изменили могущественные мужья — все как на подбор герои, о недостатках которых в легендах и песнопениях принято молчать. Равно как и о женщинах. О них, сетует Афина, великие мастера слова скажут только одно: «Поэты не поют... о родах. Поэтам все равно, легко или трудно приходит к матери молоду. Единственная мать, о которой стоит говорить, — эта та, что приветствует сына, вернувшегося с войны».

МИРА АРИМ, «НОЧНОЙ БАЗАР. ПУТЬ ДОМОЙ» («КОМПАСГИД»)

Ночной Базар — магическое место между мирами, где нечеловеческие существа заключают сделки. Здесь можно купить в буквальном смысле все что угодно. Людям просто так на Базар не попасть. Единственный человек здесь, скажем так, на ПМЖ — юноша Наз, которого воспитывал демон Холд. И вот однажды на Ночной Базар попадает девушка Али... Случай вопиющий! Вместе с Назом они отправляются в наш мир, чтобы найти амулет Холда с его жизненной силой.

Все это происходило в первой части дилогии «Ночной Базар» Миры Арим. В продолжении сюжет делится на две четкие линии: юноша и девушка пытаются вернуться на Ночной Базар и спастись от преследования королевской гвардии, а Холд и его приятель-маг стараются спасти Ночной Базар, который, помимо прочего, атакуют странные твари...

В «Пути домой» читатель получит все, чего обычно и ждет от финала дилогии: сюжетные линии завершатся, главные герои раскроются окончательно, роли второстепенных персонажей наконец-то станут ясны в общей веренице событий. Сюжет в этой книге построен в классическом формате «квест-квест-квест»: принеси мне двадцать кабанчиков, и я дам тебе новое задание. Персонажи постоянно попадают в пере-



дряги: заплатите аренду за таверну, спаситесь из темницы, найдите путь на Ночной Базар. Между главными героями — Назом и Али — наконец бурлит больше химии. Вроде и романтической линией пахнет, а вроде — ничего серьезного. Такие вещи приятно оставлять на откуп читательской фантазии.

Тут на огонек заглянут шаманы, волшебные лисы Ницуне. И в этом парадоксальность книги Миры Арим. Вроде бы элементы из разных культур, которые в отдельно взятом случае не смотрятся вместе, разграничены. Вот есть магическое пространство Ночного Базара, где встречаются твари всех мастей (даже дриады). А вот — обычный мир, напоминающий средневековую Европу. Логика мироустройства понятна. Но в то же время читательское нутро подсказывает, что иногда вокруг перебор несочетаемого.

Некоторые книги похожи на эмоциональные горки, где читатель не успевает отойти от одного впечатления, как тут же получает в лоб второе, третье и далее по списку. «Ночной Базар» — не такой роман. Это достаточно ровный текст без сильных эмоциональных и сюжетных перепадов. С одной стороны, это делает книге большую честь: слишком уж много выходит романов чересчур «на надрыве», которые будто вечно хватают за голову и бьют об стенку. Читателю хочется отдохнуть. Диалогия Миры Арим в этом смысле — отличное лекарство: увлекательное, но не развинчивающее шурупчики эмоций. С другой стороны, финалу второй части «Ночного Базара» совершенно точно не хватает эмоционального накала. А, как известно из старого анекдота про Штирлица, лучше всего запоминаются последние сказанные слова. Поэтому: Мюллер, не найдется ли у вас скрепок?

ЕВГЕНИЯ САФОНОВА, «НЕКРОМАНС. OPUS 2» («ЭНСМО»)

У «Короля и Шута» есть строки:

*Вы в зале сидите,
И ваши нервы, словно нити,
Надежно пришиты
К пальцам моим...*

Евгения Сафонова уже наную книгу хватает эти нити в руки и по полной манипулирует читателем, но во второй части «Некрманса» делает это с особым изяществом. Вивисекция снальпелем книжных твистов проходит болезненно — кому вообще в наше время нужен наркоз, когда тут предлагают *такие* эмоциональные горки?

Стоит напомнить, что происходило в первой части фантастической дилогии. Студентка-музыкант Ева Нельская случайно попала в волшебный мир, где ее тут же убили, а потом воскресили. Теперь она должна исполнить пророчество, которое на деле собираются превратить в театрализованное представление. Да вот только на ту самую «девушку из пророчества» у всех свои планы. В некрманта Герберта Ева влюбляется. И только романтина забурлила, как тут Еву похищает дядюшка Герберта (музыкант и, говорят, содомит). Ну а чтобы жизнь медом не казалась — другие планы тоже проваливаются. Приходится импровизировать. Хотя местный демон предлагает решение попроще — просто заключить сделку. Стоит ли оно того?

Если первая часть «Некрманса» задавала основные сюжетные повороты, которые часто оказывались вшиты в выстебивание клише о попаданцах, то во второй части все чеховские ружья наконец выстреливают. Тут и твисты на каждом шагу, и откровения героев, и мир обрастает большими красками, наконец раскрываясь в полном объеме. Этому способствуют флешбэки в прошлое, нюансы внутренней политики, прибывшая из соседнего государства делегация...

В оба тома «Некрманса» заложено, по сути, элементарное зернышко: героиня влюбилась в героя, хотя сначала его ненавидела. Но по мере того, как это зернышко прорастает, оно становится огромным деревом с витиеватой кроной. И вот видна ветка с пресловутыми сюжетными поворотами, вот — с неоднозначностью героев, вот — с эмоциональным накалом, а вот — с красотой слога. Когда дело касается музыки, Евгения Сафонова вообще уходит в отрыв и включает наную-то невероятную поэтину. Есть в некоторых сценах что-то неуловимое от Оскара Уайльда. Выражаясь прекрасными словами одного из героев, Евгения Сафонова спасает Красоту от мира, консервируя Прекрасное между строками романа.

Дилогия «Некрманса» — по всем фронтам крепко сделанный текст. Тут есть элементы ретеллинга и обыгрывания клише, нотки эпического и авантюрного фэнтези, частички мелодрамы и даже хоррора (как минимум в одной сцене). Если разобрать книгу на составляющие, получится, что детали у этого механизма всем знакомые и привычные. Велосипед Евгения Сафонова не придумала. Но соединены они так, что роман утягивает до последних страниц. Важно — концовка здесь тоже именно та, что нужна этой истории. Заверши Евгения Сафонова книгу главой раньше, и у метафорического велосипеда отвалилось бы колесо. «Некрманс» — тот случай, когда, читая роман в конце рабочего дня, не хочешь утром возвращаться в реальный мир. Ведь чтобы узнать продолжение, нужно сначала отработать законные восемь часов. Ощущаются они на все двадцать.

ЯНА ЛЕТТ, «ПРЕПАРАТОРЫ. ЗОВ ЯСТРЕБА» (WBOOKS)

Сорта живет с родителями и сестрами на границе, можно сказать, «обитаемого мира». Дальше — только Стужа. Аномальное явление, о причинах которого спорят. Известно только одно — Стужа уже больше семисот лет терзает материн. И вот однажды Сорта попадает в ряды препаратов — людей, которые могут находиться в состоянии Души и Мира (бунвально — телесном и бестелесном). Именно препараты, пользуясь особыми эликсирами, отлавливают тварей, живущих в Стуже. И из их органов состоят все механизма мира «Зова ястреба». Нонцепция весьма сложная, проще проиллюстрировать ее цитатой: «Огромные глаза валов освещали поезду путь через тьму и вьюгу. Их поверхность дрожала, как у мыльного пузыря, и не верилось, что они выдержат путь через Стужу. Глаза были встроены в “морду” поезда, прямо под лобовым стеклом и гудном-глотной бьерана. Десятки цепких лап ревок плавно скользили по ледяным рельсам в беспрестанном движении. Бока поезда, сплетенные из мышц и жил, мерно опускались и поднимались, как от дыхания. Редкие ошошни были сделаны из желудочных пузырей — Унельм не знал, чьих».

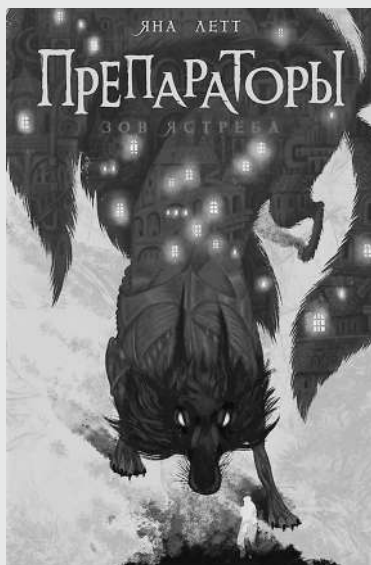
Яна Летт берет два до боли знакомых читателю элемента, чуть переворачивает их, разбавляет необычными деталями сеттинга и на выходе получает крепкий, красивый и слегка вязкий роман. Ключ к его пониманию — не столько сюжет, который не несется от точки А к точке Б, сколько психология героев и «мировая загадка»: что же такое Стужа?

Первый знакомый элемент: столкновение «конкурентов» во время обучения в условной академии. Это прочный и несокрушимый каркас для любой истории. Тут главное сделать похоже, но при этом — удивить. Парадонсально, но что, допустим, «Двор тьмы» Виктора Динсена (альтернативная Франция с вампиром Людовином XIV), что «Зов ястреба» работают ровно по этой схеме. Да и нашумевшая «Шестерка Атласа» сюда вписывается. Только на этом сходства у книг заканчиваются. Вот что значит — на хорошей вешалке любой костюм смотрится роскошно. А на саму вешалку читатель не обратит никакого внимания — и правильно сделает. Не для того они нужны, чтобы ими наслаждаться.

Второй знакомый элемент: фэнтези с кусочками постапокалипсиса. Явление тоже не новое, здесь главное найти правильный подход к проработке мира. У Яны Летт получается нечто среднее между онолоскандинавским «средневековьем» окраин и имперским лоском столицы выдуманного мира. В «Зове ястреба» как раз очень органичное сочетание постапа и фэнтези, без перегибов, но с подтекстами, которые вызовут определенные ассоциации с вполне вероятными сценариями катастроф.

У «Зова ястреба» долгий порог входа. Много терминов, механика мира сперва не до конца понятна. К тому же автор любит достаточно подробно прописывать совершенно разные сцены: от ритуального прощания родителей с дочерью до чтения книг. Если бы «Зов ястреба» был сольным романом, книга стала бы только лучше. Шероховатости остались бы незамеченными. Для первой части трилогии текст все же местами начинает бунсовать. Но скатиться истории в абсолютное уныние Яна Летт не дает — постоянно подбрасывает читателю задачек. К тому же мир «Зова ястреба» такой фактурный и многослойный, что его хочется пощупать. На шахматной доске выставлены политические партии, ордены, праздники, суеверия, этикет и другие колокольчики, вместе превращающиеся в радующий оркестр.

Во время чтения не покидает ощущение, что при таком объеме романа (почти 600 страниц) история окончательно завершится в финале.



Но это, образно говоря, очень красивый, но нещадно огромный «пролог» к остальным книгам. Для любителей неспешного чтения. И все же на выходе получается увлекательный и по-настоящему «засасывающий» в происходящее роман. Главное — преодолеть первые страницы и побороть непонимание сеттинга и терминологию, но в этом и фокус, что с места в карьер. Фокус, к слову, неплохо работающий. «Зов ястреба» — роман, который бы только выиграл от формата сольного проекта. Впрочем, все еще впереди — автор только-только разогалась.

МАКС ДАЛИН, «УБИТЬ НЕКРОМАНТА» («ЭКСМО»)

Дольф — младший сын короля. И мало было этого прискорбного фанга (младшим деткам правителей, как известно, не часто везет), как тут вскрывается другой. У Дольфа дар к некромантии. И местная церковь этому не то чтобы рада... В юности наследник заключает договор с демонами С Той Стороны. В итоге получает корону, раскрывает свой Дар, становится ненавидим народом, заводит дружбу с вампирами и создает Призрачную Канцелярию. Да только не все так просто. Румпельштильцхен из «Однажды в сказке», знаете ли, недоговаривал: платить надо не только за магию. Платить надо за все. Часто сверх оговоренной цены — а сердце, даже у Дольфа, не кремень. Может разбиться.

Если бы некромант когда-нибудь решил написать автофиншен, то получилась бы как раз такая книга. Роман Макса Далина в целом очень напоминает житие, только вот житие *не-святого*. Главный герой развеивает все слухи о себе, откровенничает с читателем. Говорит о тех, кого любил, и тех, кого предавал. Государство — а дело происходит в альтернативном мире, напоминающем Европу средних веков, — досталось Дольфу от отца не в лучшем состоянии. И наследник пытается навести порядок,

как может: а то бургомистры получают от жителей налог, а до казны он-то и не доходит... Методы у Дольфа весьма... специфичны. Так, он привязывает к себе дух старого слуги, которого давным-давно убили в подвалах замка, и тот становится осведомителем. Дольф оживляет чучела лошадей, в основе которых — настоящие кости, и женится на вдове брата. «Убить Некроманта» — во многом история о разного рода любви в болоте политических интриг. Здесь чаша весов непостоянна. Теряешь одно — получаешь другое. Иногда — совершенно неожиданно жертвуешь тем, чем не планировал. И понимаешь это лишь задним числом.

Язык Макса Далина — чугуны и железо. Дольф рассказывает свою историю хлестко. Так, что каждое слово ударяет, — стиль отлично подчеркивает характер главного героя. При этом в книге нет переизбытка чернухи и чересчур сальных шуточек. Все здесь в равновесии. А сарказму Дольф явно учился у мэтров.

Сравнивать книги с «Песней льда и пламени» в 2022 году — дурной тон. Тут, впрочем, и сравнивать неправильно. Но если на минуту представить, что все мариновские придворные интриги можно ужать в рамках истории одного героя и рассказать все его же глазами — получится как раз «Убить некроманта». Правда, роман этот не столько сюжетен, сколько эмоционален. А эпилог книги — вещь парадоксальная. Сюжетно он может показаться лишним, но идейно выводит книгу на новый уровень, еще раз подчеркивая, что история — штука изменчивая. Если угодно, прологом Макс Далин закольцовывает композицию — но делает это с... скажем так, вневременной изюминкой.

РЕБЕНКА РОАНХОРС, «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (FANZON)

В детстве мать Серапио вырезала на его теле ритуальные шрамы и зашила веки нитью из кишочек животных. Теперь слепой юноша — сосуд для древнего Бога-Ворона. Он должен отправиться в священный город Тову и в день солнечного затмения (конвергенции, если использовать авторскую терминологию) сразить Жреца Солнца. Нсиала — своенравная, но опытная девушка-капитан из народа тиков, окутанного суевериями. Они умеют использовать магические Песни, а их кости ценятся как трофей. И так уж получается, что именно Нсиала с командой должны доставить Серапио в священный город. А там тем временем неладно: внутри жречества раскол, нультисты набирают силу, да к тому же погибает одна из матрон.

«Черное Солнце» — хороший пример экзотического фэнтези, где автор не перемудрил. Говорят, такое читатель любит. Ацтекские мотивы узнаваемы, но при этом не перенесены в книгу один в один. Да и терминов не чрезмерно много. Частая проблема фэнтези, которое базируется на экзотической мифологии, — вещи, воспринимаемые как полный абсурд. Возникает тот же эффект, что при чтении некоторых — особенно восточных — мифов. Ребенка Роанхорс на эти грабли не наступает. Она удивительным образом смогла избежать чрезмерного использования таких «странностей». Тут это разве что гигантские ездочные водомерки и такие же вороны. В остальном же текст пестрит нужными и приятными деталями: звездными картами, маисовыми лепешками, магией крови, экзотическим алкоголем и яркими жреческими нарядами. А товары здесь оплачивают какао.

Всю книгу можно разделить на две магистральные сюжетные линии: путешествие Серапио с Нсиалой на корабле и события в Тове, которые



крутятся вокруг Наранпы. Она — Жрица Солнца родом из бедняков. Тут кроется одна из двух главных загвоздок романа: линии непропорционально интересны. Несмотря на все интриги, заговоры и покушения, история Наранпы — достаточно глубокого персонажа — не может обогнать историю Серапио с Нсиалой. Пусть сюжет с их участием и выстроен по лекалам классического «морского путешествия» со всеми вытекающими проблемами. Так что же произошло? Почему так? Ответ прост: между юношей и капитаном куда больше пресловутой химии, так что эмоционально эта линия отзывается сильнее. К тому же сами герои выписаны ярче и интереснее. Само собой, обе сюжетные линии постепенно сплетаются и окончательно запутаются клубком во втором томе.

У Ребенки Роанхорс получается простое, но увлекательное фэнтези с действительно непривычной читателю культурно-мифологической «подкладной». Но есть в книге один нюанс, чуть портящий впечатление, — концовка. На нее — великое противостояние, между прочим! — намекают с первых строк, держат интригу, а потом... сминают, оставляя пятнадцать страниц экранного времени. Получается блекло и скомканно. Но если держать в голове, что это лишь окончание первой части — то есть где-то середина полного двухтомника, — такой подход можно понять. Все еще будет — и уж то ли еще будет!

АНВИ РИД, «ПИР ТЕНЕЙ» («МИФ»)

Четыре святых создали четыре стороны света. Да только один из них повелевал тьмой, и теперь, каждые семь лет, в ночь перед праздником, что зовется «Началом новой жизни», поглощает грешные души. Не дает пути в новую жизнь. Юношу Юстина одолевают тени-сущности Похоти, Гнева и Тщеславия, заставляют убить короля, королеву и принцессу — свою

возлюбленную, Далию. Да только та выживает, но оказывается в клетке. Девушка теряет память, ее продают в бордель, где за ней ухаживает — заодно разбирается в происходящем — обворожительный травник Эвон. А тем временем еще два героя понимают, что клан, в который они вступили, чтобы убивать «неверных», — слишком жесток.

Сразу становится понятна главная фишка «Пира теней» — большое количество персонажей, которые на первый взгляд не связаны. Это иллюзия — конечно, на протяжении романа три сюжетные линии сольются воедино. А уж в последующих томах — заявлена трилогия — тем более. Получается, что в «Пире теней» наним-то героем уделено слишком мало времени, наним-то — наоборот, много. Не стоит сомневаться, что автор восстановит баланс в следующих книгах. Но здесь таится главная загвоздка «Пира теней». Этот роман похож скорее на растянутый пролог к масштабной истории, где ниточки интриги только-только натягиваются. Постоянно что-то происходит — драки, убийства, передраги, но все эти события локальные. Эпизодические конфликты, которые призваны толкать сюжет. Разрешаются они быстро. Конечно, все это так или иначе выстраивает героев в магистральную линию трилогии и в конце концов сталкивает их. Но не хватает чего-то более глобального: такого, чтобы «Пир теней» ощущался как отдельный роман, а не как зачин к дальнейшим событиям.

Анви Рид удастся написать темное фэнтези, которое по стилю и ощущениям от тенста — и это здорово! — не напоминает никого из зарубежных мэтров. Тут и Мартином не пахнет, и Аберкромби — не особо. И это — в лучшем смысле! Роман сразу выделяется: есть в нем элементы чего-то авантюрного, особенно сюжетная линия принцессы в борделе. К тому же автор выстраивает понятную мифологию, к которой не возникает лишних вопросов. Да и весь мир тут вроде напоминает наш, а вроде и не слишком, что тоже очевидный плюс для современного молодежного темного фэнтези. Выхватить можно только детали: допустим, что местное название борделей схоже с римскими «лупанариями».

«Пир теней» — книга невероятно бодрая, здесь постоянно что-то случается, и такой подход не может не увлечь. Анви Рид пишет легко, но не забывает вручивать красоты там, где надо. Может показаться, что текст чуть жидковат, но это — еще одна иллюзия. Увеличь его плотность — и забунсует сюжет. Многим героям еще предстоит раскрыться, но травник Эвон и Юстин (к слову, новый король) в «Пире теней» перетягивают все внимание на себя. А Похоть, Гнев и Тщеславие — второстепенные звезды сюжетной линии. Это то самое приятное цветное конфетти, которое авторы любят разбрасывать по книге для читательского удовлетворения. Назалось бы, вроде не главные герои — а история сразу становится объемнее. «Пиру теней», пожалуй, не хватает еще одной вещи: хочется видеть чуть измененную стилистику в арне каждого героя. Пусть доминирующий голос здесь все же автор-рассказчик. Ну и, если заканчивать со всеми дворцовыми интригами, роман Анви Рид — бодрое фэнтези, где упор делается не на глобальные политические конфликты, а на героев. Если угодно — такое очеловеченное темное фэнтези. Может, даже и не слишком темное — бело-серое, как игра теней на стене.